

Фудель Сергей Иосифович

**Воспоминания
Сергей Иосифович Фудель**

Часть I

I II III IV V

Часть II

VI VII VIII

Часть 1

...В Церкви с каждым годом все страшнее стоять, но не говорит ли это только о том, что постепенно окончательно снимаются, казалось бы, несокрушимые стены какого-то церковно-византийского благополучия и христианство возвращается к своей первоначальной Голгофе, в Гефсиманский сад. Страшно? Да! Но в этом саду Христос сказал ученикам: «Побудьте здесь и бодрствуйте». И это должно обязать наше сердце, оно должно прислушаться к этому голосу.

С. И. Фудель (из частного письма 1971 года).

Сергей Иосифович Фудель родился в Москве 13 января 1900 года (31 декабря 1899 года по старому стилю). Отец его священник Иосиф Фудель через всю жизнь пронес горение истинно христианской души и сумел передать его своим детям. С детства и до самой смерти Сергей Иосифович был в Церкви, и его жизнь принадлежит ей.

Неизвестно, будет ли написана история Русской Православной Церкви XX века. Слишком уж не соответствует масштабу событий количество материалов, документов, свидетельств, по большей части исчезнувших. Кроме этих утрат, написанию истории препятствует то характерное для России явление, которое можно назвать разрывом преемственности. Полная или почти полная потеря связи с прежней Россией во всех сферах жизни – это роковая черта сегодняшней русской действительности. И самым трагичным, конечно, является разрыв преемственности духовной. Сейчас и в Русской Церкви почти уже исчезло ощущение непосредственной связи с ее недавним еще прошлым. Грустно видеть попытки современных церковных диссидентов перекинуть мостик к мученикам 20–30-х годов и выдать себя за продолжателей их дела. Ни мучеников, ни их подвига, ни их устремлений они не понимают, так как не знают их духа, не ощущают и не способны по-настоящему оценить его. Еще прискорбнее то, что этого никто почти не замечает ни в России, ни на Западе.

Сергей Иосифович Фудель не писал церковную историю XX века, но был участником ее событий. Судьбы Церкви стали его жизнью. Революция, страшные и радостные годы церковного правления патриарха Тихона, трагическая церковная смута, катакомбная церковная жизнь – все эти пути были пройдены им. Он трижды сидел в тюрьмах, отбывал ссылки вместе со многими крупнейшими церковными деятелями, со многими мучениками. Он впитывал дух тихой, гонимой русской святости, на

протяжении всей своей жизни подобно пчеле собирая ее крупички на быстро оскудевающих церковных полях. И этим подлинным духом наполнены его сочинения, что делает их столь драгоценными сегодня. Все, что писал Сергей Иосифович, проходило горнило его собственного духовного опыта, несет в себе свидетельство о духе времени и о Церкви. Его сочинения не открывают, вероятно, столь много страниц в богословской науке, как у богословов на Западе (в частности, русских), они, наверное, не блещут той ученой эрудицией. Но, читая, например, «Записки о литургии», написанные Сергеем Иосифовичем, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики, можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Кажется, что святоотеческие толкования литургии, положенные в основу работы Сергея Иосифовича, написаны не сотни, не тысячу лет назад, а теперь, нашими современниками, каждое это слово скрепившими своей кровью. Время не разделило нас со святыми, древности, не разорвало единый церковный опыт. Может быть, это и есть наиболее необходимое в наши дни объяснение литургии.

Последнюю часть своей жизни Фудель прожил в городе Покрове Владимирской области. Стокилометровый рубеж сохранял свою силу для него до конца, и он так и не смог вернуться в Москву или хотя бы приблизиться к ней. Сергей Иосифович долго и тяжело болел и скончался в Покрове в своем намоленном доме 7 марта 1977 года. В Покрове он и похоронен.

Эта последняя часть его жизни была, как и вся жизнь, суровой и трудной. Постоянная нужда и болезни, постепенно наступавшая слепота от глаукомы, оторванность от детей и близких сочетались с отсутствием продуктов, с топкой печки и ношением воды из колонки – словом, с обычным провинциальным русским бытом. «Трудно без дружеского общения. Мы здесь как в пустыне», «Я все один и читать даже не могу, так как в глазах часто туман», «Время ведь ужасно одинокое», – пишет он в письмах.

Недалеко от дома Сергея Иосифовича стоит старинная церковь, единственная действующая на всю округу. Сергей Иосифович постоянно читал в ней в качестве псаломщика и постоянно писал. Именно в этот период, начавшийся с 1956 года, он написал все свои работы. По ходу дела он должен был совершать очень утомительные поездки в Москву. Иногда (чаще летом) ему удавалось некоторое время пожить в Москве, поработать в библиотеке, навестить кого-нибудь из оставшихся от прежнего великого

множества знакомых и друзей.

Незадолго до смерти Сергей Иосифович составил список своих работ (Перечислим наиболее крупные из них: «К. Леонтьев в его письмах к о. Иосифу Фуделю», «Наследство Достоевского», «Начало познания Церкви (об о. Павле Флоренском)», «Записки о литургии и церкви», «Славянофильство и церковь». «Путь отцов». «Письма из ссылки». Друзьями и почитателями С. И. Фуделя подготовлено к печати собрание его сочинений в шести томах. Некоторая часть этих текстов, ходивших в самиздате, появилась в западных изданиях. В собрание включены окончательные, наиболее полные авторские редакции. Наследники С. И. Фуделя предоставили право издания его работ «Новому миру»). Он часто возвращался к написанному, вносил исправления и дополнения. Даты в большинстве случаев не ставил, поэтому восстановить точное время написания работ вряд ли удастся; тем не менее, вероятно, кое-что можно уточнить. Очень важно собрать письма Сергея Иосифовича, которые безусловно составляют замечательную часть его духовного наследия. Особенно необходимо воссоздать его биографию. Будем надеяться, что все это довершит время, если будет на то воля Божия.

Протоиерей ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ

Вспоминая поездку – пятьдесят лет тому назад – в Оптину, приношу это тебе не только как некий итог «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», но и как знак сердечной моей благодарности за всю прожитую вместе с тобою жизнь.

Вербная суббота 72 года.

Кто-то сказал, что «все забывается, кроме счастья». Как ни тяжелы для человека постигшие его страдания, но по какому-то благовому закону они постепенно рассеиваются в душе, и в ней неожиданно остаются – точно острова нетленной радости – только счастливые часы или минуты прошлого. И тогда это прошлое существует вместе с настоящим. Это то, о чем когда-то сказал Батюшков:

О память сердца! ты сильней

Рассудка памяти печальной.

(начальные строки стихотворения К.Н. Батюшкова «Мой гений» (1815). – В.Б.)

Но бывает так, что человек разрушает даже и этот благой закон: он может так приглушить свою душевную чуткость, что голос пережитого счастья будет все больше и больше замирать в пустынях памяти. Когда наступит полная тишина, – очевидно, приближается духовная смерть.

Как ни тяжел последний час, –

Та непонятная для нас
Истома смертного страданья,–
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья.
(Полный текст стихотворения Ф. И. Тютчева (1867). – В.Б.)

Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря.

Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у малоизвестного русского философа XVIII века – Гр. Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему Учителю. Ты скажешь: апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же покоряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом»¹.

Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство.

Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством родины. Когда мне было лет пять, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда «все хорошо» и «папа с мамой рядом». Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест.

Кроме этого помню только улыбку глаз старца Иосифа², когда он, стоя среди толпы в своей келье, увидел входящего отца.

Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь – все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину, а от первого помню еще дорогу в Шамордино, под вечер, в удобной пролетке, – я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются, и отец им отвечает, а я опять охвачен этим чувством детского благополучия.

Потом, до семнадцати – восемнадцати лет, все было у меня связано с другим монастырем, с Зосимовой пустынью. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей по нескольку раз в год.

Вот уходит поезд, из которого мы вылезаем в Арсаках по Ярославской ж.д. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка, и знакомый кучер монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину мимо елей и берез и болотистых канав с незабудками.

Природа здесь не та, что в Оптиной, – здесь север, и кругом монастыря

густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда она у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой откроешь широкую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которая уму непостижима. Все живое и нетленное и благоухающее чистотой.

Там, где монахи – истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая теплая радость земли около их стен. В связи с этим я вспоминаю еще один монастырь, Толгский на Волге. Там манатейные монахи³ были как студенты в общежитии. Некоторые во время обедни не стеснялись выходить покурить. Я лично знал одного такого, – хороший был человек и меня угощал папиросами, но зачем он был в монастыре – неизвестно. И вот я помню, что кедровая и березовая роща и красивая Волга этого монастыря никогда не открывали мне того, что зосимовские снега и ели.

Природа, очевидно, не сомневается в необходимости подвига очищения человека.

Кстати, кедровая роща Толгского монастыря была очень древняя, на одном из кедров висел железный лист с описанием каких-то событий Смутного времени, но ни грозное веяние истории, ни указание на бывшие здесь чудеса не действовали на сердце. Тут же на других кедрах и на скамейках были памятные надписи посетителей из Ярославля, из которых запомнилась самая длинная и самая безобидная: «Бедность не порок, но большое неудобство».

Толгский монастырь, очевидно, представлял обычную картину духовного оскудения тех лет. Была там и гостиница, но она существовала главным образом для дачников: все номера на летний сезон сдавались под дачи. Низший монастырский персонал готовил обеды, на Волге можно было достать лодку – чего же больше? Была и пристань с монастырской часовней. Каждый пассажирский пароход (общества «Самолет») отходил не иначе как после краткого молебна.

Помню совсем пустую часовню с иеромонахом, спешащим поскорее закончить, потом гудки, стук отбрасываемых сходен и фигуру наконец окончившего молебен иеромонаха в золотой ризе на фоне нарядных и равнодушных пассажиров верхней палубы, крестом благословляющего отходящий пароход. Что-то до сих пор щемит в сердце от этого воспоминания, точно и я был тогда в чем-то виноват. Такая одинокая была эта фигура, так страшно было, что никому до нее нет никакого дела. Там ехали стареющие Вронские и еще жирные Климы Самгины, и какое им, в общем, было дело до этого благословляющего креста.

«Се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23,38; Лк.13,35). Впрочем, еще не совсем «пуст», если быть точным. Помню, там был один старик монах, для которого такой монастырь был, конечно, «миром», и он жил за Волгой, при какой-то монастырской часовенке.

Потом вспоминается собор. Широкая каменная лестница вела на открытую галерею вокруг храма, расписанную видениями Апокалипсиса. Иконостас был высокий, по полному чину, и фигуры апостолов и пророков, устремленные к центру, молча говорили о многом. История России, история веры России ощущалась именно здесь, а не у кедров с мемориальной доской. В конце каждой службы монахи (и покурившие и не покурившие) сходились на середине храма и пели «О всепетая Мати» особым тишайшим напевом. Пели они действительно хорошо, никогда и нигде после я не слыхал такого пения этой молитвы, которая как будто старалась покрыть и наполнить духовную пустоту древнего монастыря.

Такое же духовное оскудение я в те же годы (1915–1916) почувствовал и еще в одном монастыре – в Николо-Бабаевском, тоже на Волге. Не рассеяло это впечатление и то, что к отцу привели очень старенького монаха, который еще застал в юности здесь кончившего свою жизнь известного многим (хотя бы по рассказу Лескова) еп. Игнатия Брянчанинова. И могилка его была совсем заброшенная: очевидно, и в монастыре им уже не интересовались.

Но я забыл о Зосимовой.

Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от «северной русской Фиваиды», чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Оптина была, так сказать, убедительнее для боязливого интеллигентского сознания. Но, с другой стороны, мы знаем, что и она не могла до конца убедить Толстого. Что же удивительного, что Зосимова не смогла убедить Бердяева, как-то сюда приезжавшего. Благодать познания мира и самого себя дается только смиренным сердцам, а из автобиографии Бердяева мы с сожалением узнаем, что он гордился не только своим умом, но даже и родством с титулованными фамилиями. Бердяева оттолкнула от зосимовского старца Алексея его непочтительность в отношении Толстого. В те годы мне показывали книгу Лодыженского «Свет Незримый», в которой рукою старца был вычеркнут эпитет, приставленный к Толстому: «великий писатель земли русской». Для о. Алексея он был прежде всего разрушитель веры в Церковь.

Старец был духовным центром монастыря⁴. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на

исповедь богомольцев: и седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон, а главное – глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него, до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь: огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей, но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди (он обычно исповедовал сидя), я открывал ему свои тяжелые грехи, я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь Небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца.

Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полусловам, полу-чувствам, полу-молитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно: или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свою лень и трусость, сомнение и грех и в священном безумии иди за этими голосами, стройно, и сладостно, и страшно поющими все про одно: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею!», «И Ему Одному служи!»

Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песнь: «Ему Одному служи!»

На кафизмах гасятся свечи только кое-где остаются лампы. Словно опять Ветхий завет – еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит: «Не устал ли?» Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостиницу кто-то идет: хрустит песок. Там, в номере, я знаю, есть сдобные баранки, и это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам Храма, к звездам. Скоро канон.

«Христос моя сила. Бог и Господь, честная церковь благолепно поет взывающи».

В номере по-монастырски пахнет. Засыпаешь, конечно, тут же, но среди ночи где-то в холоде неба опять благовест, и опять идешь по

хрустящей дорожке. Я помню, что ночные службы я наполовину спал, но помню и то, как в эти сны вдруг врвались голоса поющих, я открывал глаза, видел огни, рядом стоящего отца и радостно убеждался, что я в той же крепкой ладье, что моего сна никто не заметил, что меня и спящего они, эти голоса поющих, унесут с собой.

Музыка настоящего, т.е. монастырского, церковного пения так благодатна, как и его слова. Тут «печать дара Духа Святого».

Когда мне было лет пятнадцать – семнадцать, я два раза приезжал в Зосимову пустынь и один. Одному, да еще совсем юному, страшнее в таком настоящем монастыре. Такое чувство, точно попал маменькин сынок на передовую. Какая там «тихая пристань»! Тут уж никакого «Дворянского гнезда» или «Былого и дум». Вместо «гнезда» – море, в которое нужно броситься, вместо «дум» или «былого» – живое и трепетное делание настоящего. Здесь может быть только человек-творец, возжелавший внутри себя найти свою нетленную первооснову, здесь «невидимая брань» и воинское дело духовного подвига.

Помню, однажды я вопреки всем традициям остался там один на пасхальную ночь. Служил заутреню отец Дионисий, которого мы в семье особенно любили за его исключительное смирение.

С ним у моего отца был такой случай. Отец стоял на всеобщей среди богомольцев. Проходящие монахи подходили к нему для получения благословения. Вот подошел в толпе еще какой-то небольшой монашек. Отец благословил и только когда тот, поцеловав руку как простой монах, отошел, отец с ужасом заметил, что он в рассеянности дал поцеловать свою руку иеромонаху о. Дионисию, т.е. такому же священнику, как он.

Крестный ход обошел храм и остановился перед закрытыми наружными дверями. Пасха была поздняя, ночь светозарная была легка. О. Дионисий поднял голову к этому единственному в году небу и начал пение: «Христос Воскресе...».

И вдруг – страшное замешательство у стоящего рядом иеродиакона: о. Дионисий забыл, что надо сделать еще один краткий вступительный возглас. Все было тотчас, конечно, сделано смертельно смущенным иеромонахом, иеродиакон был успокоен, и что-то самое главное было этим исправлением нарушено. Мне стало горько за моего иеромонаха, за себя, за звезды, к которым он поднял лицо, мне захотелось тут же бежать домой на Арбат.

«Не имамы дерзновения за премногие грехи наши».

А был еще случай, когда я действительно убежал из монастыря «в мир». Мне было лет пятнадцать, и я также приехал в Зосимову один на

Страстной, чтобы остаться на заутреню. Все было для меня, как обычно, хорошо, но все-таки не совсем все. Так же поскрипывала деревянная лестница гостиницы, когда сходишь к службе, так же четко стучали по камню шаги под красной надвратной колокольней, так же выходили из келий монахи, спеша в церковь, с концом мантии, перекинутой на левую руку. И все-таки мне вдруг стало чего-то остро не хватать.

Конечно, я охотно делаю скидку на самое естественное для пятнадцатилетнего мальчика чувство – тоску по семье в эти блаженные предпасхальные часы. Но в то же время я ясно помню, что я затосковал, помимо этого, еще и по тишине такого «мира», который замолкает перед заутреней, по необычайной и невероятной тишине большого и грешного города в эти часы. Монастырская тишина стала мне недостаточна. И вот в Великую субботу я не выдержал и убежал.

Было уже, наверное, часов семь или восемь вечера, когда я шел от Ярославского вокзала пешком на Арбат. Трамваи уже не ходили: не полагалось, – а автомобилей что-то совсем не помню, и все улицы, по которым я шел, были одной длинной тихой дорогой. Помню Мясницкую с опущенными железными жалюзи на окнах контор и магазинов. Вот «Брабец», где я, начитавшись Ната Пинкертона, еще совсем недавно купил себе финский нож. Вот часовня Пантелеймона, совсем пустая Никольская, по которой я несусь мимо синодальной типографии с какими-то зверями на стене, мимо опять таких же закрытых громадных контор. Может быть, хозяин одной из них, как диккенсовский мистер Скрудж (См.: Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями. Собрание сочинений в 30-ти тт. Т. 12. М. «Художественная литература». 1959. – В.Б.), сейчас спит и видит во сне своего умершего компаньона? На Воздвиженке я запыхался, пошел тише и услышал сзади переборы Спасской башни: «еще не поздно». Вот и родной Арбат и шатер Николы Явленного.

Я не знаю, что я больше любил: саму пасхальную заутреню или тот час, который в церкви предшествует ей, час пасхальной полунощницы.

На полу ковры, народу много, но не так еще много. Везде видны белые платья, но они еще точно прячутся, не выпячивают себя. Все ставят последние, прощальные свечи перед плащаницей.

И вот как-то совсем неожиданно хор начинает этот, по-моему, самый великий канон церковной службы: «Волною морскою» – «творение, – как сказано в богослужебных книгах, – жены некия, Кассии именуемой»⁵. Все совсем замолкает, и делается ясно слышным слабый папин голос, читающий слова канона:

«Господи Боже мой, исходное пение и надгробное Тебе песнь воспою, погребением Твоим жизни моя входы отверзшему».

Я был вознагражден за свою верность грешному народу в эти часы.

Так бесконечно хорошо, когда запели девятую, последнюю песнь. Дальше – я знаю – будет тоже хорошо, но затем все-таки опять пойдут, громыхая, трамваи, будут приезжать визитеры в мундирах и с орденами – все уже будет не то.

Но во время крестного хода вокруг церкви все еще было «то».

«...Нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить». Идут огоньки свечей, церковь на углу Арбата, и попутно видишь, что многие окна высокого дома напротив открыты и видны крестящиеся фигуры. Весь город хочет «чистым сердцем Тебе славить».

В египетских и палестинских монастырях V-VI веков был хороший обычай. Когда начинался Великий пост, монахи уходили на все время четырехдесятницы в пустыню, в разные места, поодиночке или по двое, для полнейшего безмолвия и подвига. А накануне Пасхи все опять собирались. Для них монастырь был уже как бы «мир», и для совершеннейшего подвига им нужно было идти на время в уже совершеннейшую пустыню, чтобы тем радостнее встретить Воскресение в «миру» своего монастыря.

Мне иногда жалко – хотя, конечно, это нелепая мысль, – что монахи наших русских монастырей, живя весь год в «пустыне» своего монастыря, не приходили на одну эту единственную ночь в город, чтобы вместе со всеми людьми вострепетать «радостью неизреченною и неизглаголанною».

Мир был слишком оставлен.

II

Мой отец умер 15/2 октября 1918 года, но уже с 1915, кажется, года у него завелись кипарисовые четки. Такие они были легонькие и уютные, я и сейчас помню их на ладони. Для «мирского» священника это было, конечно, весьма необычайно: кругом было так называемое филаретовское духовенство. Этот термин, собственно, не имеет отношения к личности самого митрополита, а характеризует только определенную категорию людей. Может быть, при Филарете (Филарет (Дроздов, 1782–1867) – митрополит Московский с 1821 по 1867 год, один из самых влиятельных иерархов Русской Православной Церкви XIX века, выдающийся богослов. – В.П.) они были другие, но в этот период – перед и во время первой мировой войны – это были люди, в своем большинстве пребывающие с поразительным спокойствием в каком-то особом сытом благополучии. Есть одно трудное слово у апостола: «Страдающий плотию перестает грешить» (1Пет.4,1). Плоть большинства батюшек не страдала. Помню, однажды за обеденным столом моя сестра стала что-то с похвалой говорить именно о «филаретовском» духовенстве. Отец, такой обычно терпимый и сдержанный, вдруг как-то весь сморщился и воскликнул: «Ох уж это мне филаретовское духовенство».

В последние годы жизни появилось у него и чтение Псалтиря совместно с мамой. Помню раскрытую книгу на столе, красную закладку и рядом лежащие кипарисовые четки. Отец прошел весь свой путь в большой дружбе со своей женой, от студенчества 80-х годов, когда он робко входил со своей статьей в приемную И. Аксакова, до испанки 1918 года.

Странное это было время, когда среди общего бездумного благодушия высших классов отдельные люди страдали страданием умирающей эры. Отец несомненно принадлежал к ним.

Эра давно умирала. В воспоминаниях Я.М. Неверова (ближайшего друга Станкевича) есть такое место, относящееся, очевидно, к 1830 или 1831 году. «Читаю ли я Евангелие? – спросил преп. Серафим, – Я, конечно, отвечал – нет, потому что в то время кто же читал его из мирян: это дело дьякона».

Чьим же делом стало это чтение пятьдесят лет после этого разговора? Конечно дьякона продолжали читать его, читали его и батюшки на всенощных, но кто читал из интеллигенции?

Отец родился в 1864 году в семье делопроизводителя по

хозяйственной части Владимирского драгунского полка и матери-польки. В «Хронике моей жизни» Тверского архиепископа Саввы^б есть такие строки: «Священник Фудель – интереснейший человек, внук немца заграничного, женившегося на русской, и сын отца православного по матери, но плохо говорившего по-русски. Окончил он курс в Московском университете по юридическому факультету, прослужил 3–4 года в Московском окружном суде, женился, съездил в Оптину пустынь два лета кряду и, с благословения почившего старца Амвросия, бросил службу, полгода учился церковным наукам в Вильне под руководством почившего архиепископа Алексия и рукоположен им священником в Белосток... Это мастер служения и замечательный проповедник» («Хроника моей жизни» (Троице-Сергиева лавра, 1911, т. 9, стр. 365–366). – В.П.).

Когда после окончания юридического факультета Московского университета он в 1889 году принял священство, это вызвало бурю со стороны родителей. Маловерие его отца тут вошло в союз с католическим изуверством матери. Успокоить отца оказалось даже легче, чем мать. Передо мною сейчас лежат два письма моего отца к родителям. Письмо к бабушке спокойно и полно различных обоснований правильности выбранного им пути. Характерно такое место: «Вас смущает то, что я хочу быть исключением из общего правила и, будучи юристом, идти в священники; правда, современное общество наше настолько холодно относится к религии, что многим покажется странным, как это человек с высшим образованием оказался и с высшим религиозным чувством. Но это оттого, что наше время такое мерзкое. Лет через 30 все это будет очень обыкновенно, а пока ужасно».

Письмо к матери было полно страдания, очевидно, если она его не прокляла, то, во всяком случае, низвергла на него все католические громы.

«Исполняю Вашу просьбу, дорогая мамаша, отсылаю Вам Ваши образочки и крестик; не говорите, что я его обманом взял. Божие благословение можно приобрести только покаянием и молитвой, а не обманом. Ради Христа прошу Вас, мама, не вините папашу ни в чем; он ни в чем не виноват, разве только в том, что имеет доброе христианское сердце... Быть может, когда-нибудь в будущем Вы пожелаете меня простить, простить мое единственное непослушание; тогда Вы найдете во мне того же преданного и искренно любящего сына Иосифа».

Вот, оказывается, как трудно было стать служителем Христовым в 80-х годах прошлого столетия.

Приняв посвящение в Вильне, отец назначен на служение в Белосток, и здесь он сразу же столкнулся с другой стороной медали: духовенство, в

которое он попал, приняло его как чужого.

Об этом он пишет в одном письме к К.Леонтьеву от 1890 года. С Леонтьевым он познакомился в 1887 году, а первый раз увидел его в 1886 году в редакции «Русского дела» Шарапова, где он сотрудничал, и с тех пор был всегда с ним близок, хотя до конца жизни оставался больше «ранним славянофилом», чем леонтьевцем. Вот что он пишет: «Здесь (в Белостоке) мы (он с женой) подняли целую бурю, произвели целый переворот в здешнем обществе и вызвали яростные крики против нашего поста. Каковы здесь обычаи, можете судить по тому, что большинство священников в этом храме не знают, что такое пост, и даже Великим постом едят мясо. В оправдание такого порядка вещей указывают на недостаток и дороговизну рыбы и т. п. Вообразите, сколько нам здесь приходится выслушивать со всех сторон сожалений по поводу того, что мы разрушаем постом свое здоровье и т.д.».

Монастырский оптинский дух, с которым он начал служение, был, конечно, чужим и непонятным. Дальше в этом же письме он пишет: «Бываю я почти во всех интеллигентных семьях, и между тем буквально не с кем душу отвести в разговоре. Все или «безмыслие», или «недомыслие», или узкая специальность, съевшая человека, или просто хамство».

Но для того чтобы не ошибиться в понимании этого «оптинского духа» и того, как он сам его понимал, я приведу отрывок из некролога, написанного моим отцом на смерть оптинского старца о. Иосифа.

«Старец Иосиф, – пишет он, – не был так известен, как его духовный воспитатель о. Амвросий... Народ не толпился у его хибарки густой толпой в несколько сот человек, как это бывало при о. Амвросии... Но кто хоть раз побывал в его келии, посмотрел в его дивные по особенному выражению глаза, услышал его тихий, тихий голос, видел его радостную улыбку, не сходящую с изможденного лица, – тот уносил с собой то непередаваемое ощущение особенной благодарности, которое переживать можно было только в Оптиной... Достаточно было посмотреть на него, чтобы увидеть как в зеркале свой лик, искаженный буйным мирским нетерпением и гордостью, и устыдиться себя. Но что особенно поражало в о. Иосифе, – это его безграничная любовь, покрывающая собою всякую человеческую немощь. Казалось, он никогда не мог не простить кого-либо или наказать провинившегося хотя бы отеческим наказанием. Страшно ослабевший, изможденный и постом и болезнью, приковавшей его на много лет к постели, о. Иосиф встречал каждого входившего в его келью такую светлую, радостную улыбкой, как будто он только что был в Раю и хочет нам, беспокойным и мятущимся, передать оттуда нечто непередаваемое»...

Старец Иосиф умер в 1911 году. От 1907 года сохранилась такая запись свящ. П.Левашова: «Я увидел необыкновенный свет вокруг его головы, а также широкий луч света, падающий на него сверху, как бы потолок кельи раздвинулся» (Полный текст записи священника Павла Левашова воспроизведен в книге: Концевич И.М. Оптина Пустынь и ее время. Джорданвилль. 1970, стр. 305–308. – В.П.).

Отец Амвросий как-то сказал об о. Иосифе: «Вот я поил вас вином с водой, а о. Иосиф будет поить вас чистым вином».

Все это вместе, включая, конечно, и пост и подвиг, и есть тот оптинский дух, который привез мой отец в Белосток.

Что в этот период (ему было двадцать шесть лет) он был готов и способен говорить не только о посте, но и о Тургеневе, свидетельствует это же самое письмо, при котором он послал свои «стихотворения в прозе». В оправдание этой посылки он пишет: «Переход от великопостных мотивов к лирическим немножко странен и неловок. Но что же делать? Ведь под рясой у меня тоже бьется сердце, и сердце, кажется, довольно чувствительное. Соединение эстетики с религией, казавшееся для меня невозможным, осуществляется теперь в том, что я – священник – во вторую неделю Великого поста посылаю Вам свои «Лирические мотивы». Почему-то уж очень мне хочется их напечатать».

После дружеской критики Леонтьева «Лирические мотивы» печати не увидели. Да кроме того, окунувшись с головой в пастырскую работу, ему в дальнейшем было уже не до них. Кроме пастырской, шла большая работа в газетах и журналах. За тридцать лет литературной деятельности он участвовал в восемнадцати повременных изданиях и опубликовал около 250 статей и брошюр. Для них характерно полное отсутствие тем политических. Основное и единственное, что всегда держало в напряжении его внимание, это религиозно-культурное развитие личности и общества. Печатать он начал в 1886 году, т.е. уже после знакомства с И. Аксаковым. В 1887 году издал отдельной книжкой «Письма о современной молодежи» и послал ее с письмом к К.Леонтьеву в Оптину пустынь. С этого и началась их дружба. Первый раз в Оптину он попал в 1888 году, но до 1891 года, т.е. до смерти о. Амвросия он был там уже четыре раза. В 1892 году он был переведен в Москву, где еще больше погрузился в литературную работу, хотя эта работа сама по себе никогда не была его целью. В письме от 1891 года к Леонтьеву он говорит: «Я не забываю, что публицистика для меня не цель, а только средство для проповеди, и если в этой области я найду неблагодарность или «благоглупость», то это пустяки, потому что в других областях своей же деятельности я нахожу

громадное нравственное удовлетворение и духовное наслаждение. Тем-то и велико и хорошо священство, что оно не замыкает дух в одну узкую область, а дает ему свободу воплощаться в самых разнообразных видах: богослужение, требоисправление, проповедь церковная, школьная деятельность, публицистика, духовное воспитание и т.д. и т.д.».

В краткой формуле можно было бы так охарактеризовать всю совокупность его пастырской, проповеднической, литературной и школьной деятельности: апология чистого христианства. Особенно интересно для тогдашнего времени, что и школьную работу он вел именно так: почти весь урок его ученики или ученицы читали Евангелие, или он сам его читал, пояснял, дополнял параллельными местами. На вопросы по катехизису оставлялись последние минуты перед звонком. Ему, очевидно, хотелось преодолеть Я. М. Неверова и лишить дьякона монополии чтения этой книги.

Когда началась революция 1905 года, и большинство пастырей были в смятении, так как слишком долго в их сознании срачивалось тело церкви с больным телом умирающего строя, он сразу нашел правильное слово христианина, отвечающее на вопрос «что делать?». Вернуться к Христу – вот смысл ответа, который он вложил в одну из своих статей этого времени. Он пишет: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению. Как пастырь церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть – ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у одних к существующему порядку, у других – к забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой... Чувствуется, что любовь иссякла... И в этом бесконечный ужас положения... К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать – где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения... У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственно только действительно к господствующему чувству. Это средство – общественная молитва к Господу Любви «о умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы»... Что же? Неужели мы не воспользуемся нашим оружием? Или в нас оскудела вера в силу молитвы? Или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем ждать его?..».

Я не знаю, последовал ли «указ консистории» о молитве к Господу Любви, но даже в самом этом словосочетании есть уже точно какое-то

кошунство. Очевидно, дело в этой области было очень плохо, и недаром еще «нотатки» старика Туберозова в «Соборях» (см.: Лесков Н.С. Собрание сочинений в 11-ти тт. Т. 4. М. «Художественная литература... 1957. – В.П.) были политы горькими слезами одиночества и ужаса перед церковной действительностью. Этими же слезами полны письма еп. Игнатия Брянчанинова. «Все возрастающая бюрократизация церкви, – пишет Л. Тихомиров в своих воспоминаниях об отце⁷, – пугала и предвещала недоброе». Он в этих воспоминаниях, между прочим, приводит один интересный факт. На Орловском миссионерском съезде 1901 года, где участником был и мой отец, была произнесена (М. Стаховичем) речь с цитированием стихов Хомякова: .

Оттого что церковь Божию
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной, земной...

У Хомякова это обращено к Англии, но в речи в Орле это было применено к царскому правительству в России.

Сохранилось еще одно письмо отца от 1898 года к свящ. Евгению Ландышеву, которое является, мне кажется, документом большого церковно-исторического значения. Оно вскрывает то положение, в котором находились истинные служители Слова в конце викторианского века.

«Дорогой во Христе собрат, о. Евгений. Получил Ваше письмо, читал, перечитывал со вниманием и с сердечным сочувствием к Вашей великой скорби. Но отвечать Вам берусь с нерешительностью. Чем могу помочь Вам? Что сказать?.. Несмотря на то, что добрых пастырей (и архипастырей из молодых) очень много... все-таки современное состояние нашего народа так плохо, что нужны невероятные усилия, невероятная работа со стороны той части духовенства, которая не изменила своему долгу и призванию, чтобы положить хоть некоторый предел народному разложению... Недостойные пастыри всегда были. И при Златоусте и раньше его на епископских кафедрах сидели сребролюбцы, развратники и т.д. И всегда это будет. И несмотря на это, Церковь всегда была и будет чиста и непорочна и пастырское звание всегда будет величайшим званием на земле... Что и говорить, отче, дело наше очень плохо. В народе наш авторитет подрывается, общество не любит, власть не поддерживает. Архиереи выдают нашего брата гражданской власти с головой, страха ради иудейска. Это совершенно естественный результат того несвободного состояния, в каком находится русская церковь со времени Петра Великого.

Когда все это кончится, одному Богу известно».

«Что же делать?» – спрашивает он себя дальше. И в ответе на это письмо, по-моему, еще более ценно, чем в первой части, поскольку определение положения Церкви было уже достаточно сделано Достоевским, Соловьевым, славянофилами и Лесковым. Он пишет, соединяя иногда свои слова со словами своего архипастыря Алексия Литовского:

«По моему глубокому убеждению, надо закрыть глаза на все происходящее вне нас и чего изменить мы не можем, углубиться в себя и всецело отдаться своему непосредственному делу. Необходимо прежде всего бодрствовать над самим собой, умерщвлять свои страсти и помыслы греховные, дабы не явиться кому-либо соблазном, и в то же время неленостно исполнять свои обязанности: учить, служить, наставлять. Затем, исполняя свой долг, надо непрестанно помнить, что священство есть величайший крест, возлагаемый на наши рамена Божественной Любовью, крест, тяжесть которого чувствуется сильнее теми иереями, кои по духу таковы, а не по одному названию... Каждый час, каждую минуту приходится им идти согнувшись, приходится терпеть жестокость и непослушание своих духовных чад, насмешки и дерзость отщепенцев Церкви, равнодушие представителей власти, приходится страдать молча, всех прощая и покрывая чужие немощи своей любовью. Таков закон, такова чаша наша. И «насколько вымирает в ежечасных страданиях естественная жизнь проповедника или пастыря, настолько лишь и только таким путем насаждается жизнь духовная в слушателях, в пастве...». Больно Вам, обидно, что правды нигде не видите, что все окружающее погрязло в формализме, угасивши свои светочи, – Вы не гасите свой огонь, сильнее его разожгите, бережней храните...

Раскольники песни поют около Вас, когда Вы служите, Вам больно, обидно, – не зовите следователя и земского начальника... прощайте и молитесь о заблудших, заставьте плакать с собой тех, кто с Вами молится, и только этим путем, только великим страданием сердца, соединенным с великой любовью, Вы растопите ту ледяную кору около себя, которую напрасно стараетесь пробить ударами кулака...

...Таков закон. Этот закон освятил своими страданиями Сам Искупитель».

Когда читаешь это письмо, с великим волнением вспоминаешь «Соборян» и думаешь: неужели после факта такого письма одного благонамереннейшего священника к другому такому же кто-нибудь усомнится в обоснованности скорби отца Савелия? И неужели

действительно церковное руководство 60-х годов прошлого века приняло этот роман Лескова только как литературную блажь?

Окончание письма такое:

«Но Вы знаете, конечно, что священство есть не только великий крест, но и великое счастье, величайший дар Божий на земле. Оно есть источник неизъяснимых духовных радостей, которые мирянам недоступны, и вот в этой радости иерей Божий почерпает ту силу, которая так необходима ему, чтобы не упасть под тяжестью креста. В молитвенном подвиге духа, в благодатной близости к престолу Божию почерпает он средство против уныния и обновления духом для продолжения трудов. Нет на земле никакого другого более высшего духовного наслаждения и радости как предстоять престолу Господню и совершать таинство Евхаристии... да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни! Будем молиться, терпеть, страдать и любить, а дальше – да будет воля Божия».

Письмо помечено 14 мая 1898 года, т.е. оно писано через девять лет после посвящения. Вот еще один документ того времени – письмо отца к свящ. М. Хитрову о школьной работе:

«Настала пора отрешиться от мысли о непогрешимости программы церковноприходской школы. Мальчик, окончивший церковноприходскую школу, из всех дивных притчей Спасителя, в которых так осязательно выражено все учение христианское, обязан знать только три! Мальчик, вышедший из школы до окончания ее, ничего не знает о Лице Христа и учении Его, так как запрещается (подчеркнуто в письме) говорить об этом, пока не прошли Ветхого завета. А между тем таких (подчеркнуто в письме) детей большинство, так как в селах не кончают курса до 60% учащихся! С чем же они выходят из школы? Ну не грустно ли все это?».

Если «без указания консистории» пастырям было невдомек молиться о любви, то, конечно, логично и то, что «запрещалось» говорить о христианстве, «пока не прошли Ветхого завета».

В 1892 году отца перевели из Белостока священником «Мертвого дома» – московской Бутырской тюрьмы. – и он со всей горячностью своей натуры погрузился в громадную работу проповеди христианства среди заключенных. Это была целая эпоха жизни, продолжавшаяся пятнадцать лет и надорвавшая его силы. Для начала ее характерно письмо его к С. А. Рачинскому от 15 января 1893 года:

«Причина моего молчания очень проста. Я просто-напросто, попав в Москву, завертелся в круговороте дел и забот... Тюремное дело такое

сложное дело, что тут не только один священник, но и десять могли бы быть полезными. Это целый мир особых людей, более всего ищущих духовной жизни, помощи... Просто теряешься от той громадной области духовных нужд, какую представляет из себя тюрьма. Ведь здесь постоянно средним числом 2500 человек заключенных! Это целый городок людей духовно больных, людей, наиболее восприимчивых к духовному свету. И вот приходится теряться в громаде дел и впечатлений. Пойдешь по камерам, зайдешь в одну, другую – полдня прошло; как вспомнишь, что еще 45 камер, так и руки опускаются. А тут еще литературное дело; какое ни на есть, а все время отнимает часа три в день.

К тому же характер у меня самый противный: за все берусь, не рассчитывая своих сил и возможностей, всюду разбрасываюсь, затягиваюсь, поэтому никогда не вижу осязательных результатов своей большой, но бестолковой деятельности; от этого часто впадаю в уныние».

От этого же 1893 года, т.е. от первого года служения отца в тюремной церкви, сохранился еще один документ – письмо каторжника Никифорова к его знакомому в Гомель:

«К нам в камеры каторжных стал очень часто ходить наш прелестнейший батюшка о. Иосиф, г-н Фудель, и при всяком посещении давал нам читать различные книги духовно-нравственного содержания... Он по приходе во всякую камеру положительно подвергался, так сказать, нападению со всех сторон наших каторжных арестантов, и каждый желал получить хоть какую-нибудь книгу для чтения... Нелишним считаю заметить, что появление в наших камерах священника был случай не просто обыкновенный, а выходящий из ряда обыкновенных... Это подтверждают и бродяги, проходящие через Москву в продолжение 10 лет раза по два, по три, которых я нарочно спрашивал: видели ли они когда-нибудь в камерах священника? Они всегда отвечали – нет, не видели никогда, это первый батюшка, который обратил на нас внимание».

Дальше в письме говорится об организации моим отцом, чрез этого же Никифорова, внутрикамерной школы грамотности. И в сохранившемся отчете отца за 1893 год есть такое место: «Один из заключенных (ссылнокаторжный Козьма Никифоров) стал обучать грамоте своих товарищей посредством звуковой системы. Успехи были настолько неожиданно велики, что через три месяца 40 человек могли совершенно свободно читать и очень сносно писать, так что письма домой писали уже сами».

Уже этого факта достаточно, чтобы понять причину любви к отцу со стороны заключенных.

При жизни отца все правые ящики его стола были заполнены арестантскими письмами, живыми знаками благодарности. Писали из тюрьмы, и с пересылочных этапов, и с поселения в Сибири, и с Сахалина. Один заключенный, шедший по этапу на каторгу, кажется, в течение полутора лет, причем последние 1500 верст он шел в кандалах пешком, прислал ему после прибытия целую рукопись своего, если так можно сказать, дорожного дневника, своеобразные «Записки из Мертвого дома», которые могли бы служить хорошим материалом для изучения тюремного быта того времени. Большинство писем было наполнено благодарностью за материальную помощь.

«Получаю от Вас 2 письма и 2 рубля, которые для меня были все равно как бы Господом Богом сброшены с неба, потому что Маня была положительно без юбки и за эти деньги справила себе юбку». Маня – жена, которая шла по этапу с мужем и дочкой. В конце приписка: «Добрейший о. Иосиф, если возможно, то пришлите по возможности для поддержания наших сил».

Вот другое письмо с Сахалина: «Уведомляем. Батюшка мы получили Вашего письма, которое Вы послали из 3 рублями».

«Просьба моя состоит в том, чтобы поддержать мои падающие силы в настоящее время при небольшом недостатке жизни» – это пишут из бутырской камеры.

Вот из Иркутского централа: «...остаюсь молящий Бога за Ваше здоровье за тот гостинец, который Вы дали нам в Москве (5 р.) и многих от большой нужды избавили». Из того же централа: «Во-первых чувствительно благодарю Вас за присланный мне гостинец к празднику Рождества Христова».

Может быть, еще большим делом, которое отец делал для заключенных, было соединение мужей с женами. Ряд писем полон их криками о помощи или благодарностью за помощь в этом. Вот одно из таких писем: «Я к вам с глубокой скорбью, у меня очень большое горе, в котором я прошу вашей помощи. На днях этой недели отправили мужа моего в партию, пошел в Сибирь, а я с маленьким ребенком осталась здесь (в тюрьме). Зачем он меня покинул не знаю, мы так любили друг друга. Я скорее ожидала смерть чем этой разлуки. Не знаю кого винить. Виноват всему начальник, такой строгий режим лишил нас всего... Покорно прошу вас батюшка попросите начальника за меня, напишите от себя в Главное Тюремное Правление чтоб меня выслали вслед за мужем».

А вот письмо от другого лица: «Здравствуй пресветлейший батюшка... Очень благодарю вам, што меня соединили с женой, за сто мы молимся

Богу за вашего здоровья...» Подпись: Константин Антонов, Сахалин. От этого Антонова сохранилось и первое письмо: «...всепокорнейше прошу вас дать мне страждующему защиту, чтобы представить разом в мою отправку вышеупомянутую законную жену и умоляя глубокими слезами повторяю покорнейше прося не оставить моей просьбы».

Просьба, очевидно, «не оставлялась», писались заявления и письма, велись переговоры, шла большая работа по пробиванию стены бюрократизма или бездушия.

Вот письмо из самарской тюрьмы: «Как дела идут о моих малютках?., умоляю Вас ради Господа, не поставьте себе в труд уведомить меня о деле касательно моих детей, есть ли какая надежда?.. Кроме Бога и Вас нет к кому обратиться».

Всем этим горем, слезами человеческими и человеческой радостью полны письма, чередуясь с призывами о помощи духовной.

«Я, многогрешный преступник Петр,– читаю в одном письме из Бутырской камеры,– прибежал к помощи властителей наших, начальству, но оно не желает не только излечить мою душу, но не хочет даже и вести об этом речь. Со слезами и больной душой прошу, батюшка, Вашего духовного лекарства... Батюшка! помоги мне, дай мне место, где бы я мог излить свои горькие слезы...».

А вот просьба о Псалтири: «Покорнейше прошу вас батюшка пожертвуйте мне Псалтирь вашу память. Мне так хочется читать Псалтирь, все бы я читал и даже во сне снится, что я Псалтирь читаю». Это письмо тоже из Бутырской тюрьмы, а на некоторых конвертах арестантских писем из Сибири имеются пометки рукой отца: «Купить книг на (столько-то) рублей и отослать».

Его любили не только каторжане. Дом, где мы жили, стоял против Пугачевской башни. Помню, я семилетний играю где-то около нее, а какой-то служащий тюрьмы идет мимо и приветливо мне говорит: «А ты знаешь, что твой отец теперь стал протоиереем?» Я не понимаю, что такое протоиерей, но чувствую, что этот человек радуется за моего папу. Когда он умирал в 1918 году, отходную читал очень ему преданный второй священник тюремной церкви о. Дмитрий.

Но любимый каторжниками батюшка, наверное, уже давно вызывал недовольство начальства. Пятнадцать лет такой широкой христианской деятельности, не дожидавшейся «консисторских указов», закончились в 1907 году. Поводом к этому, очевидно, послужил отказ отца ввести политику в свою христианскую проповедь.

Сохранились копии отношений московского губернского тюремного

инспектора и ответов на них отца. Первым отношением предлагалось организовать в коридорах тюрьмы беседы на духовно-нравственные темы с обязательным посещением их арестантами. Отец отвечал так: «Духовно-нравственные чтения и беседы велись всегда в тюремной церкви и школе. Вызывались для этого из числа арестантов только желающие, так как я не нахожу возможным принуждать (зачеркнуто более резкое: «насиловать совесть») кого-либо участвовать в духовно-нравственной беседе, ибо принуждение в этом случае не уменьшает, а укрепляет противорелигиозное настроение, в ком оно есть. В настоящее время такое настроение преобладающее среди каторжников, ибо из них более половины осуждены за политические преступления. Беседа на религиозные темы с такими людьми тотчас же переходит на почву социально-политическую и возбуждает страсти, а не умиротворяет».

В своем ответе на это тюремный инспектор указал, что «в последнем случае вина всецело лежит на священнике, не умеющем руководить беседами и умиротворять страсти.... Обязанности тюремного священника не исчерпываются церковными службами и проповедями на узкой почве укрепления в заключенных начал православия...» «Вся нравственная жизнь заключенного... все помыслы и влечения сердца должны быть под моральным контролем тюремного пастыря». В заключение этого второго отношения говорится: «Конечно, здесь важен почин, энергия... и не казенное исправление должности священника, обязанного служить определенные дни за определенное вознаграждение при готовой квартире».

Эта переписка велась с февраля по апрель 1907 года, а в конце сентября этого же года «пресветлейший батюшка», как его называли каторжане, не считавший, что проповедь христианства есть «узкая почва», не пожелавший быть «моральным контролером» арестантских помышлений, не умевший «насиловать их совесть», да притом еще служивший «за определенное вознаграждение и при готовой квартире», переехал в маленький и бедный приход на Арбат.

Когда мы здесь в 1907 году поселились, Арбат был еще совсем тихий. Даже трамвая на нем еще не было и асфальта на мостовой, между бульжниками кое-где пробивалась летом травка, а фонари были газовые, низкие, которые по вечерам зажигали специальные рабочие-зажигальщики, перебежавшие быстро с длинными легкими лесенками от одного фонаря к другому. Улицы Москвы тогда вообще были тихими дорогами большой деревни. В воздухе был покой. На углу Никольского переулка (теперь Плотникова) был большой склад дров, а за ним, по переулку, стояли два деревянных дома, в которых жил причт Николо-Плотниковской церкви. В них первые годы нашей здесь жизни не было еще и электричества, а воду привозили ежедневно на лошади в громадной бочке. Не было тогда еще и кино и автомобилей, а на углу почти каждого переулка стояли извозчики разных категорий: от совсем простеньких ванек до шикарных лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда, помещавшегося там же, где он и сейчас, на углу Кривоарбатского переулка. Это было, наверное, уже в 1910 или 1911 году. На самом Арбате, не считая Арбатской площади и прилегающих переулков, стояло три церкви. У Николы Явленного посередине Арбата был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что, когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности.

К арбатскому, и последнему, периоду жизни отца относится его дружба с о. Павлом Флоренским.

У нас была семейная традиция: мы, дети, на Рождество дарили папе подарки. День его рождения был как раз 25 декабря, а 26-го именины. Я помню себя еще пятилетнего, но уже взятого сестрами в писчебумажный магазин и выбирающего там на собственный двугривенный какую-то замысловатую ручку. В 1913, кажется, году подарком от дочерей была только что вышедшая тогда книга «Столп и Утверждение Истины»⁸.

Об этой книге трудно спорить. Помню, один архимандрит в миссионерском журнале назвал ее печатно букетом ересей. Один духовный старец на мой боязливый вопрос, как он относится к Флоренскому, ответил: «Как же отношусь – конечно, хорошо. Он был только еще юный, еще что-то недоговаривал». Нас тогда эта книга подвела

к живому касанию церковных стен.

Многих людей прежде всего шокировала ее форма. Я помню одного генерала, который все возмущался, что это «какие-то письма». Нас убеждала прежде всего ее форма, то, что это именно «письма к другу», писанные совсем новыми, или, наоборот, очень древними, словами ума, живущего в сердце. Где-то в ней было сказано: «Иногда в зияющих трещинах рассудка видна бывает лазурь вечности». Хотя вся она была, собственно, построена на этих «трещинах», хотя в ней был великий груз доказательств лазури, однако вся ее притягательность заключалась в том, что груз совершенно не ощущался, что основное ощущение, которое она давала, было то, что «уже все доказано». Входя в нее, мы сразу понимали, что вышли из леса цитат (хотя они были тут же в целом томе примечаний), из шумного зала религиозно-философских собраний, столь распространенных в те времена, и даже из мансарды Достоевского, где его юноши проводят ночи в спорах о Боге. Здесь уже никаких споров быть не могло, здесь мы читали запись об осуществленной уже жизни в Боге, доказанной великой тишиной навсегда обрадованного ума. Ум наконец нашел свою потерянную родину, то теплейшее место, где должно быть его стояние перед Богом. Мысль оказалась живущей в какой-то клетке сердца, где в углу, перед иконой Спаса, горит лампада Утешителя. Вспомнилось, что некоторые теплейшие письма Апостолов были тоже письмами к другу. В этой клетке сердца не было ничего «от мира», но здесь мысль, восходя на крест подвига воцерковления, охватывала все благое, что было в мире, как свое, как принадлежащее Премудрости Божией, Богу – Творцу и твари и мысли. Стало понятно, что борьба за крест есть борьба не только за личное спасение, т.е. тем самым спасение своего разума, но и борьба за любимую землю человечества, спасаемую и освещаемую благодатью. Конечно, все это было древнее: озарение святых древних веков. Но громадность и несравнимость попытки Флоренского изложить это на современном религиозно-философском диалекте были совершенно очевидны. После него легко и радостно читались послания Апостолов, рассказы патериков о святых, пронизанных светом Утешителя, описание древних икон и храмов, тайноводственные слова отцов Церкви о преображенной твари, но никак не диссертации на тему «К вопросу о развитии тринитарных споров» или мертвые «Курсы догматического богословия».

Всю свою глубину и сложность Флоренский нес в тишине совершенной цельности. И это было в нем, пожалуй, самое удивительное. Тут было дело не только в цельности энциклопедического ума, хотя диапазон этой энциклопедичности был исключительным. Помимо его

порадившей всех книги, я помню его работы и авторитетные замечания, какие-то властные вторжения – по филологии, по китайской перспективе, по философии культа, по электричеству, по символизму, по философии, истории женских мод, по русской поэзии, по новым способам запайки консервных банок, по древнегреческой философии, по генеалогии дворянских родов. Его знания высшей математики были для всех очевидны, но последний раз, когда я его видел, я застал его за изучением вопроса о способах затаривания лука в Америке. Но все-таки дело не только в этом. Флоренский был какой-то исторически непостижимый человек во всем своем жизненном облике. «Вы ноумен», – помню, как-то сказал ему Розанов. И при этом добавил: – Но у вас есть один недостаток – вы слишком обаятельны: русский поп не может быть обаятельным».

Его ряса казалась не рясой, а какой-то древневосточной одеждой. Его голос в личной беседе звучал из давно забытых веков религиозной достоверности и силы. То, что он писал, и то, как он писал, давало не такие слова, по которым мысль прокатится, как по арбузным семечкам, и забудет, а какие-то озаренные предметы. Пусть кое-что из того, что он написал, было незрело. Главная его заслуга заключалась в том, что, овладев всем вооружением современной ему научной и религиозно-философской мысли, он вдруг как-то так повернул эту великую машину, что оказалось, она стоит покорно и радостно перед давно открытой дверью богопознания. Этот «поворот» есть воцерковление мысли, возвращение запуганной, сбитой с толку и обедневшей в пустынях семинарий религиозной мысли к сокровищам благодатного Знания. Это не «научное доказательство бытия Божия» и не рационалистическая попытка «примирить религию с наукой», а какое-то отведение всей науки на ее высочайшее место – под звездное небо религиозного познания. «Доказать» научно, в смысле рационалистическом, бытие Божие нельзя, и «примирять» тоже ничего не надо. Надо как раз обратное: надо, чтобы наука «доказала» самое себя, надо заставить науку сделать еще один и дерзновенный шаг вперед и дать ей самой увидеть открывшиеся для нее вечные горизонты.

Казалось, что еще немного – и ботаника, и математика, и физика заговорят человеку ангельскими языками, словами, свойственными именно этим точным наукам, но проросшими в Вечность и омытыми там от Нетленного Источника.

Я не знаю, так ли это будет, т.е. пойдет ли религиозная мысль когда-нибудь по его пути, или эта Новая Наука будет только в Царстве Божиим, но свое дело он сделал. Если он нам ее еще не открыл, то он открыл нам

глаза и уши на древнюю и вечную Церковь, источник величайшей радости человеческого ума. Мы, я помню, когда читали его книгу, говорили себе: «Начинается Весна. Церковь и есть Вечная Весна. Теперь на всю жизнь все ясно». Пусть мы часто не понимали его божественные логарифмы, хоть и догадывались, о чем он хочет сказать, – к нам шло основное: раскрытие небесной лазури человеческого ума под темными и такими любимыми сводами родной Церкви. И нам тогда делалось вполне очевидным, что, конечно, именно Церковь, открывающая эту лазурь, и есть «Столп и Утверждение Истины».

Встречи отца с Флоренским были редки, но я хорошо помню какую-то особенно радостную улыбку отца, когда он говорил о нем или когда при нем произносилось его имя.

Помню, я иду с отцом по Никольскому переулку и говорю ему, что, как я сам слышал, Флоренский так объясняет слова панихиды «надгробное рыдание творяще песнь»: надгробное рыдание мы претворяем в песнь торжествующей победы.

Что я, семнадцатилетний, этого не знал, это не мудрено, но я помню, как радостно просветлело лицо отца: «Да, да, как это он правильно сказал». Этот разговор был, кажется, уже осенью 1918 года, месяца за два до смерти отца. Флоренский один из первых священников пришел на панихиду, и я помню его читающего «Боже духов и всякия плоти».

Первый раз я увидел Флоренского еще до выхода его книги. Отец, бравший меня с собой в Оптину к монахам, повез меня к нему в Лавру. Смутно помню разговор о какой-то евгенике или о чем-то еще мне совершенно непонятном. Я оживился, кажется, только за ужином, за которым, помню, было виноградное вино в стаканчиках, и в том, как оно подавалось (я сравнивал с другими домами) чувствовался какой-то ежедневный строгий обиход, что-то тоже не от нашей истории.

Керосиновая лампа освещала стол. После ужина отец Павел пошел провожать отца в лаврскую гостиницу. Была зима, но ночь была не морозная. Мы шли по пустой улице, мимо маленьких домиков, на темные контуры Лавры. Кругом были снега и тишина той, далекой теперь России. У моста, я помню, до меня дошли отрывки их разговора: о символике цветов на древних иконах Богоматери.

Потом уже, в 1918 или 1919 году, когда в Лавре сняли ризу и реставрировали рублевскую «Троицу» и тихие краски божественного творения засияли огнями Невечернего Света, – я вспомнил этот разговор как ночное предобручение. как напутствие на всю свою жизнь.

«В непогоде тих» – была подпись под одной из виньеток-эпиграфов

книги Флоренского. Таким и остался он в моей памяти, и в этом именно его облик как-то слился для меня с обликом отца.

Я вспоминаю, как отец говорит с какой-то насмешливой улыбкой: «Отец Павел велел прислать мне ему все мои *omnia opera*». Улыбка мне понятна: отец весьма скромно думал о своих действительно скромных литературных трудах. Уж какие, мол, там *omnia opera*, да еще для Флоренского.

В 1887 году отец издал «Письма о современной молодежи», в 1893-м «Наше дело в Северо-Западном крае», в 1894-м – «Основы Церковноприходской жизни», в 1897-м – «Народное образование и школа», в 1900-м – «О значении церковной дисциплины». Вот почти все, что вышло отдельным изданием, – 5–6 небольших брошюр. Правда, кроме этого была очень большая журнальная работа, но все-таки все это была только «публицистика», только «попутная проповедь», а не капитальная работа мышления.

Тут мне опять вспомнился В. Розанов. Отец не любил его как писателя. Помню, как-то он сказал мне, увидя у меня в руках «Опавшие листья»: «Не стоит читать – это только и есть что опавшие листья». Так вот, когда Розанов летом 1917 года приезжал в Москву и был у нас, он за чайным столом сказал со свойственной ему непосредственностью: «А вы, отец Иосиф, литературный пустоцвет». Отец мне рассказал это и с добродушной улыбкой добавил: «Он, конечно, совершенно прав». Дело отца было в другом: в живом общении с людьми для христианского на них воздействия и человеческой им помощи. Первые годы после своего перехода из тюремной церкви на арбатский приход он горячо взялся за приходскую работу. В первую очередь привлекла его внимание вся беднота, живущая в приходе. Если в тюрьме людей, во всяком случае, кормили и давали койку, то здесь часто не было и этого, и кто-нибудь мог мечтать о тюрьме, как Сопи в известном рассказе О'Генри (рассказ «Фараон и хорал» – В.П.).

Через полгода после своего переезда в приход, т.е. в мае 1908 года, отец начал, как он сам писал, «с сомнением и боязнью совершенно новое дело для приходской жизни в России» – издание своими силами и средствами «Приходского вестника», печатного органа общения пастыря с приходом. Листки этого «Вестника» за 1908–1914 годы могут быть не без пользы и для современного священника.

В № 1 от 20 мая 1908 года он пишет об усилении работы приходского попечительства о бедных: «Много, очень много дела в приходе всем, кто не умом только, а сердцем откликается на вопиющую нужду. Я говорю о

детях тех тружеников, которые перебиваются изо дня в день, не имея часто определенного заработка, которые ютятся в крошечных квартирках, иногда в углах, не имея подчас самого необходимого для своего пропитания».

В № 3 от 4 сентября 1908 года вместо поучения прямой крик: «Зима приближается быстрыми шагами. Вспомните бедняков! Одеться надо, без башмаков нельзя выйти на улицу. Стужа много страданий приносит с собой. Нетопленные углы, замерзающая в комнатах вода, прикрытые всяким тряпьем дети. А помочь им уж не так трудно. В каждой сравнительно обеспеченной семье всегда бывают остатки одежды и обуви. Куда они деваются? Много из этого бросается зря. Пришлите ко мне на квартиру то, что желаете пожертвовать бедным. Особенно нужны валенки, большие и маленькие». Так началось его попечительство об арбатских нищих.

В четвертом номере этого же 1908 года уже было помещено следующее объявление: «На мое приглашение в № 3 пожертвовать ненужную одежду откликнулись очень многие. До сего времени пожертвовано 84 вещи: Много роздано бедным, многое еще осталось. Наше приходское попечительство постановило открыть склад одежды для бедных». Просто и понятно. «Особенно нужны валенки». Как, действительно, идти зимой бедному человеку в Царство Божие без валенок?

За 1909 год на склад поступило уже 134 предмета одежды и обуви. На рождественской елке этого года собралось 72 человека, дети бедняков. Но вопль о валенках не прекращается. «Одна старушка с больными ногами очень нуждается в валенках. Нужны также валенки для мальчика девяти лет. В нашем складе таковых нет».

А о трудной представимости для нас тех времен рассказывает такое обращение «Вестника»: «Прошу убедительно каждую хозяйку разрешить своей прислуге заблаговременно поговорить. Невыразимо тяжело выслушивать на исповеди от рабочего люда признания, что не говел года два и больше, потому что невозможно было – «хозяева не пускали»».

В этом же номере «биржа труда»: «Меня очень просят пристроить на место мальчика 14 лет. Отец его обременен громадной семьей – 8 человек детей».

В 1911–1912 годах был страшный голод в Поволжье, и «Приходский вестник» отражает работу отца по помощи голодающим людям. Сборы средств были начаты в декабре 1911 года, а уже 5 февраля 1912 года отца уведомили, что на собранные им деньги была в Поволжье открыта столовая для питания 36 школьников одного голодающего района. Как

сообщалось с места: «Самарским епархиальным комитетом поставлено именовать столовую «имени протоиерея Фудель И.». Столовая просуществовала сто семьдесят восемь дней. Таким образом, живое дело отец нашел и на Арбате, но все-таки сердце свое, всю основную силу своей горячей воли он оставил в тюрьме. На арбатский приход он пришел уже надорванным от борьбы с косностью, от все усиливающегося чувства духовного одиночества и безнадежности. Это можно заметить даже и по этому «Приходскому вестнику». Он начался бурно в мае 1908 года, дав до конца этого года пять номеров. За весь 1909 год было уже четыре номера. В 1912 году вышел только один номер, а в 1913-м ни одного. Страшное время действовало неумолимо. В первом номере отец писал: «Люди, живущие жизнью церковной, скорбят о том, что наши приходы и обезличены, и не проявляют даже признаков жизни». Признаки духовной жизни уже давно замирали везде.

На днях один старый священник сказал мне: «Мы, выходявшие из прежних семинарий, были в большинстве атеистически настроены». Я думаю, что в этом определении есть некоторое преувеличение: не «атеистически настроенные», а равнодушные люди выходили оттуда. Но, конечно, от этого не легче, имея в виду, что именно эти равнодушные люди должны были блюсти угасающий огонь христианства в России и учить этому огненному учению народ.

Как пишет в своих воспоминаниях об отце Л. Тихомиров: «В конце концов от всех надежд остался только чад потухших плашек да убеждение, что правительство ничего доброго не умеет ни понять, ни совершить».

Если в 1891 году отец еще мог писать Леонтьеву: «Я верю в чисто религиозное призвание России и желаю только одного его», то теперь пошатнулась окончательно вера и в это «только». «Святая Русь» умирала изнутри, идея сохранения христианства в массах терпела страшное крушение. И вот началось у него в этот последний период его жизни точно какое-то иссыхание души, как растения, лишённого подземных родников.

Я бы не посмел об этом говорить, если бы не было одного его посмертного письма. Период перед первой мировой войной был наиболее душным и страшным периодом русского общества. Это было время еще живой «Анатэмы» (название нашедшей в свое время, – 1909 г., пьесы Леонида Андреева – В.П.), еще продолжающихся «огарков» и массовых самоубийств молодежи, время разлива сексуальной литературы, когда Соллогубы, Вербицкие, Арцыбашевы буквально калечили людей, время, когда жандармские офицеры читали о «розовых кобылках», а гимназисты мечтали стать «ворами-джентльменами», время, когда на престол

ложила тень Распутина, сменяющего архиереев и министров.

Главная опасность этого времени заключалась в том, что даже лучших людей оно точно опаляло своим иссушающим ветром. Страшное состояние духовного засыпания хоть на время касалось и их и заставляло забывать о «невидимой брани».

Отец все меньше ведет литературную работу. Правда, много времени отдает изданию собраний сочинений Леонтьева (См.: Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Тт. 1–9. М. 1912–1913; издание осталось не завершено. – В.П.), но это больше долг благодарного ученика, чем творческое дело сердца. Сердце, как я уже сказал, он отдает теперь приходским бедным. Помогает им сам, собирает пожертвования, говорит об этом проповеди. Даже в передней нашей, я помню, висела медная кружка с надписью «Приходским бедным». Авось кто-нибудь из богатых гостей, уходя после долгого и томительного преферанса, опустит часть своего выигрыша. Да! и преферанс появился в его доме. Ведь кончилась эта переписка со всей Сибирью, со всеми центрами и этапами. Никто уже не пишет ему из камеры: «Батюшка! помоги мне, дай мне место, где бы я мог излить свои горькие слезы». Нет жен, которых надо соединять с мужьями или совать им пятерки при отправке на этап. Бедные есть и здесь, но их так сравнительно мало. Весь приход всего 30 домов, населенных главным образом купцами и интеллигенцией. И вот началось механическое заполнение образовавшейся пустоты. Он начал строить (на банковские деньги) большой доходный дом для церкви. Стройка поглощала все время, сметы, чертежи, контроль, все дела строительные легли на его плечи. Он лазил на леса вместе с архитектором, ездил в банк, писал отчеты. Деятельность новая и небывалая для него была ключом, а душа сохла в строительной пыли. Стройка закончилась в 1913 или 1914 году, а в 1915-м на даче на Сходне он написал свои письма с пометкой: «Открыть после моей смерти».

Вот об одном из этих писем я и хочу говорить... Это было, собственно, не письмо, а какая-то исповедь, в которой он говорил только об одном: как постепенно высыхала у него за последние годы душа и какие страдания он вынес от этой болезни. Он говорил о долгих годах своей жизни, в которой все видели его таким невозмутимым, ласковым, добродушным и не сухим. Больше того: прямыми и честными словами – его путь был всегда прямой и честный – он говорил о том, что тот молитвенный восторг, та духовная радость, которая так часто посещала его в первые годы служения в церкви, только тогда изредка и в малой степени к нему потом возвращалась, когда он как бы силой воспоминания вызывал к себе ее, эту радость «первой

любви». Душа у меня постепенно высыхала, умирала духовная жизнь, вяение Святого Духа переставало веять в сердце – вот смысл того, о чем он говорил в этой исповеди, которую мы со слезами страха и любви читали после его смерти.

В конце ее он писал, что с началом войны 1914 года его духовное состояние улучшилось, что душа его опять как-то просветлела. Предгрозовая атмосфера России кончилась, и началась гроза.

Теперь, вспомнив слова из его письма к о. Евгению Ландышеву от 1898 года: «Да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни», нам будет ясней видна вся линия его жизни – его вера, его жажда правды и истинного богообщения, болезнь оскудения и его предсмертное выздоровление.

Наиболее светлым он мне вспоминается именно в последние годы – в 1917 и 1918 годах. В это время он освободился почти от всех литературных работ. Им были написаны тогда, кажется, только «Воспоминания о Леонтьеве» и работа о приходе. Воспоминания он читал мне и маме, и помню, как он весело смеялся, когда я напомнил ему после чтения фразу какого-то приятеля Леонтьева, когда Леонтьев читал ему свои воспоминания о Тургеневе: «Это воспоминания о самом себе и отчасти о Тургеневе».

В чем тайна благого влияния священника на людей? Очевидно, в том, о чем кому-то сказал преп. Серафим: «Стяжи мир в душе, и тысячи вокруг тебя спасутся». В отце был ясный луч этого мира, даже в эпоху «высыхания», и он все ярче светил в последние годы, когда появились кипарисовые четки и началось чтение Псалтири.

В одной статье еще до 1914 года он писал: «Русская религиозная личность корни свои имеет в монашестве». В последние его годы подземные родники опять омыли эти корни, и он начал готовиться к смерти.

К последнему периоду его жизни относится укрепление его дружбы с Флоренским. Во многом это были совершенно различные люди. Отец многим был обязан Леонтьеву, любил его как человека большого ума и сердца, был близок к его идеям исторического пессимизма, но он никогда не был леонтьевцем. Знаменитый византизм Леонтьева, его теория «замораживания форм» для удержания неумолимо исчезающей из них жизни есть «дорога в никуда», и она была по природе чужда моему отцу. Ему было ясно, что спастись от умирания истории сохранением ее внешних живописных форм, этим «формализмом от отчаяния», конечно,

невозможно. Леонтьев силен только в своей негативности, и никакого здания на нем не построишь. В отце же, при всей его, казалось бы, ограниченности по сравнению с блестящим Леонтьевым, был тот духовный онтологизм, та изнутри созидаящая сила, которая и в истории и в личной жизни нужнее всего. Он не был ни «обличителем», ни «пророком», он был только строителем – себя, других, дома Божия. И вот мне кажется, что именно этот дар созидания и притягивал к нему Флоренского и роднил их. Отец Павел не любил то, что он называл религиозной публицистикой (Бердяев и некоторые другие писатели), за ее чисто журнальную легкость трактовки и построения трудных и антиномичных религиозных тем. В нем была глубина какого-то молчания, скорее в молчании была его сила. Когда в 1914 году вышла его большая книга, она, конечно, помогла отцу освободиться от гнета разочарования в судьбе русского народа. Стены Успенского собора в Лавре имеют больше метра толщины. Внутри круга мышления Флоренского люди ощутили себя в такой же безопасности, как за такими стенами. Он, как первохристианский пастырь Ерм, призвал к построению «Башни Церкви», «Столпа и Утверждения Истины». За его учеными словами всегда ощущалась простая и понятная сила, созидаящая жизнь, сила, ведущая в Жизнь вечную. Эта сила, конечно, влекла к себе моего отца и многому учила, чему не мог его научить византизм Леонтьева, бесплодный по своей природе. Строительство Дома Божия никогда не прекратится, и в этом деле нет места ни отчаянию, ни тоске.

Леонтьев ведет к апокалиптике страха и неприязни. Но есть еще апокалиптика радости и любви, и только она есть апокалиптика истинно христианская. Прав был кто-то, назвавший Апокалипсис посланием радости и утешения. Флоренский в своей книге писал: «По мере приближения конца истории являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные розовые лучи грядущего дня Немеркнущего».

Только на такое восприятие Конца как Начала могла всем сердцем откликнуться созидаящая вера моего отца.

И умирал он в полном сознании своей смерти именно как момента перехода в «иногое бытия вечного начало». За три дня до смерти, лежал в жару, он попросил одну из дочерей почитать ему Псалтирь. «Какую кафизму читать?» – спросила она. «Открой наугад». Она открыла, и, когда прочла до конца, он сказал: «А знаешь, Ниночка, это ведь ты на погребение мне прочла». Это была 17-я кафизма – «блажени непорочные в пути», читаемая на заупокойных службах. Он умер под утро 15/2 октября 1918 года, а накануне вечером причастился и сам громко и внятно

произнес всю молитву «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», глядя неотступно на икону Казанской Божией Матери, писанную в Шамордине, рядом с Оптиной, там, где была его юность у ног старца Амвросия. После этого каждого из своих детей благословил, с каждым простился, каждому улыбнулся. Я, помню, был в соседней комнате, и туда вошла мама и сказала: «Идите, он хочет проститься».

Так надо умирать. И не потому ли его похороны были для нас не то горем, не то праздником?

О нем я мог бы написать еще много, – вот лежат сейчас передо мной пожелтевшие листы его «стихотворений в прозе», его негодующие письма о Вл. Соловьеве, планы его бесед и проповедей, планы и черновики книг: «Записки тюремного священника», «Земля и государство», «Женщина», – выписки, письма к родителям, но все это нужно ли? В отношении внешних фактов главное я, кажется, сказал. Что касается внутреннего, то – «как сердцу высказать себя?»; Как передать его служение пасхальной заутрени, когда он читал слово Златоуста: «Где твое, смерти, жало! где твоя, аде, победа!»

Лет через пять после его смерти, когда у меня в душе уже оскудевало христианство, я, помню, увидел сон, все опять ожививший, как дождь засыхающую землю. Я стою в толпе на паперти нашей Николо-Плотниковской церкви в пасхальную ночь. Отец, освещенный свечами народа, стоит в центре толпы и запекает ирмос пасхального канона: «Утреннюю утреннюю глубоко...»

Проснувшись, я вспомнил слова: «И на сердце человеку не взыдоша, что приготовил Бог любящим Его».

На этом надо было бы мне и кончать свои воспоминания о нем, но как-то не хочется оторваться. Пока пишу, он живой и близкий где-то рядом, и все хочется, как в детстве, поцеловать его сухую родную руку. Мы все, дети, всегда говорили ему «вы», но любили его ужасно.

Когда-то, лет двадцать пять назад, я попытался написать его портрет в стихах.

Чело высокое. Черты
С какой-то строгостью особой.
Славянофильские мечты,
Очищенные перед гробом.
Покой и честь не дороги,
Чтоб не кривить ни тем, ни этим.
Я берегу в ушах шаги
В холодноватом кабинете...

Сухая, твердая рука.
Шуршит страница осторожно.
В себе самом сгорят тревожно
И утомленье и тоска.
И вот глаза глядят в глаза
С такой отрадой и печалью.
И знаешь: в них – за серой далью –
Уже давно прошла гроза.
И начиная на краю
«Волной морской» исход из муки,
Я вспомню там любовь твою
И к небу поднятые руки.
1956. Троицкая суббота

IV

Таинство всего бытия Церкви, обнимающее все ее таинства, есть осуществление мира Божественного в мире земном, Царства Божия среди тления. Поэтому священник есть священнодействователь святилища, в котором для него вся полнота Жизни, вся его мудрость, вся правда и вся красота. Он знает всем своим умом и сердцем, что здесь, в Церкви, он нашел все, что кончились его богоискания, что он уже не искатель Жизни, а ее теург.

Так мне думается о священстве, о котором я мечтал всю свою жизнь и которого никогда не достигну. «И рад бы в рай, да грехи не пускают».

Вечность искания есть тоже болезнь души, ее рудинское бессилие достичь великого и смиренного творчества жизни. Богоискательство может быть очень убедительным, но только до известного срока.

Я хочу записать все, что я помню о С.Н. Дурылине (Дурылин Сергей Николаевич, 1877–1954, – писатель, критик, литературовед, искусствовед, театровед. В 1920 году принял священство, но вскоре сложил с себя сан. – В.П.). Вся религиозная сила его была тогда, когда он был только богоискателем, а поэтому когда он, все продолжая быть им, вдруг принял священство, он постепенно стал отходить и от того и от другого. Если золотоискатель, стоя над открытой золотой россыпью, все еще где-то ее ищет, то это признак слепоты или безумия. Как сказал мне когда-то один старец: «Я стою перед вами с чашей холодной воды, а вы передо мной машете руками и кричите, что умираете от жажды».

В 1920 году, вскоре после своего посвящения, С.Н. писал мне: «У меня кончилась жизнь и началось житие».

У нас, маловерных, есть одна тайная мысль: в Церкви, конечно, хорошо, но как же все-таки быть с Диккенсом и Рафаэлем, Пушкиным и Шопеном? Ведь, кажется, их нельзя взять с собой? И не только их, но и Эдгара По и Гогена, Полонского и Клода Фарера, Иннокентия Анненского и Эврипида. От многих людей остался в их книгах или музыкальных созвучиях точно какой-то огонь под пеплом, обжигающий душу. «Душа стесняется лирическим волнением».

Можно ли сохранить все эти книги, живя целиком в Церкви? Или же здесь «кончилась жизнь и началось житие»?

Незадолго до своего священства (наверное, в 1919 году) С.Н. как-то мне сказал: «Нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого». У С.Н. был большой талант художественной прозы, я помню

его чисто лесковские рассказы, но я помню и то, как в те же годы он говорил: «Мне нельзя писать. У писателя, как сказал Лесков, должны быть все страсти в сборе». И в обоих этих высказываниях звучала мне тогда его сокровенная грусть: Макарий Великий велик, но как же я буду без Пушкина? И вот он, очевидно, решил снять с полки Пушкина, не сняв его с полки души, он решил, что теперь ему будет хорошо, что начнется его «житие», что-то такое, что переживается, а не только пишется по-церковнославянски, – некая тишина отказавшейся от самого дорогого и любимого и все этим отказом приобретшей и умиротворенной души.

Для целиком живущего в вере, наверное, нет разрыва между Церковью и светом мира: и Шопен и Пушкин для него «только отзвук искаженный торжествующих созвучий» (неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь»; 1892. – В.П.). Тем, что он целиком отказывается от зла мира, от всего греха мира, он отказывается не от «отзвуков», хотя бы искаженных, а от всего того, что, обычно сопутствуя отзвукам, мешает слушать всю полноту торжествующих созвучий. Ни истина, ни красота не разрываются в вере, но всякая искра света на темных тропинках мира воспринимается ею как отсвет все того же великого Света, у престола которого она непрестанно стоит. Человек, полный веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира с тайным вздохом о своей жертве, так как, наоборот, он все приобретает: он становится теперь у самых истоков музыки, слова и красок.

Если священство есть не обретение «сокровища, скрытого в поле», а некая «жертва», то, конечно, тоска о пожертвованном будет неисцелима и воля в конце концов не выдержит завязанного ею узла. Так я воспринимаю вступление С.Н. в священство и его уход из него.

Помню, что в то далекое время, когда он вступал на этот путь, он не один раз говорил мне эту строку стихов, кажется, З. Гиппиус:

Покой и тишь во мне,
Я волей круг свой сузил...
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел!

Все вступление в священство сопровождалось для С.Н. его «плачем во сне» о пожертвованных им отзвуках и отсветах мира.

Я узнал близко С.Н. ранней весной 1917 года, когда он жил один в маленькой комнате, во дворе серых кирпичных корпусов в Обыденском переулке. На небольшой полке среди других книг уже стояли его вышедшие работы: «Вагнер и Россия», «Церковь Невидимого Града»,

«Цветочки Франциска Ассизского» (его предисловие), «Начальник Тишины», «О церковном соборе», статья о Лермонтове и что-то еще. Икона была не в углу, а над столом: старинное, шитое бисером «Благовещение». Над кроватью висела одна-единственная картина, акварель, кажется, Машкова: Шатов провожает ночью Ставрогина. Это была бедная лестница двухэтажного провинциального дома, наверху на площадке стоит со свечой Шатов, а Ставрогин спускается в ночь. В этой небольшой акварели был весь «золотой век» русского богоискательства и его великая правда.

Тут, на кровати, С.Н. и проводил большую часть времени, читал, а иногда и писал, сидя на ней, беря книги из большой стопки на стуле, стоящем рядом. Писал он, со свойственной ему стремительностью и легкостью, сразу множество работ. Отчетливо помню, что одновременно писались, или дописывались, или исправлялись рассказы, стихи, работа о древней иконе, о Лермонтове, о церковном соборе, путевые записки о поездке в Олонецкий край, какие-то заметки о Розанове и Леонтьеве и что-то еще. Не знаю, писал ли он тогда о Гаршине и Лескове, но разговор об этом был.

На верхнем этаже книжной башни у кровати лежал «Свет Невечерний» Булгакова, а из других этажей можно было вытащить «Размышление о Гёте» Э. Метнера, «По звездам» В. Иванова, «Из книги невидимой» А. Добролюбова, «Русский Архив» Бартенева, два тома Ив. Киреевского, «Богословский вестник», романы Клода Фарера, «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, какие-то книги о Гоголе, журнал «Весы» и «Аполлон» и даже издание мистических темных рисунков Рувейра.

Я, придя вечером, часто оставался ночевать, спать ложился на полу на каком-то старом пальто, и тогда начинались «русские ночи» Одоевского: долгие разговоры о путях к Богу и от Бога, все те же старые разговоры шатовской мансарды, хотя и без Ставрогина.

От долгого ночного бодрствования часто хотелось есть, но еды в гостях у С.Н. тогда не полагалось: он забывал о ней, да к тому какая могла быть еда в те голодные годы почти сорок лет назад? Я не знаю, чем питался С.Н. днем, но вечером он обычно ничего не ел, а выпивал только стакан или два вечно остывающего в забвении чая. Впрочем, когда мой голод бывал слишком очевидным (мне было тогда семнадцать-восемнадцать лет), он, весело улыбаясь и в то же время как-то почтительно, вытаскивал из-под кровати деревянный ящик с какой-то сушеной рыбкой, привезенной им из странствований по Олонецкому

краю, где он искал народные говоры и колдунские ритуалы, старые леса, «края непуганых птиц», старые деревянные церкви допетровской эпохи. Он жил как монах, и то, что раза два было так, что перед нами на столе стояла бутылка красного кислого вина и он мне говорил стихи Брюсова, не ослабляло, а еще подчеркивало это восприятие его жизни. Это было вольное монашество в миру, с оставлением в келье всего великого, хотя бы и темного волнения мира.

У него была одна любимая тоскующая мазурка Шопена, он часто напевал мне ее начало, и до сих пор – через сорок лет, – когда я ее слышу, я точно вновь у него в Обыденском переулке.

Помню, как после долгого и восторженного рассказа об Оптиной, где он только что был, он стал говорить об опере «Русалка». «Это истинное чудо!» – сказал он. Или вдруг после молчания, когда он, лежа на кровати, полузакрыв глаза, казалось, был весь в ином духовном мире, он начинал читать мне отрывки из его любимой вещи Клода Фарера «В чаду опиума». Это не было дешевое любопытство зла, так как для него и здесь был «иной мир». Это было, или так ему (и мне) казалось, какое-то соучастие в тоске этого зла по добру. Его рассказ «Жалостник», где им дана вольная интерпретация слов св. Исаака Сирина о молитве за демонов, был уже напечатан в «Русской мысли». Образ тоскующего лермонтовского Демона был тогда его любимым поэтический образ. Но, впрочем, может быть, тут было и какое-то особое русское и тоже тоскующее любопытство.

О, бурь заснувших не буди,

Под ними хаос шевелится.

(Ф.И.Тютчев; «О чем ты воешь, ветер ночной?» – В.П.)

А может быть, все-таки слегка разбудить? Это, кажется, Достоевский сказал: «Слишком широк русский человек, – я бы сузил». Когда ткань чрезмерно расширяется, она утончается, а «где тонко, там и рвется».

«Заснувшие бури» просыпались вечером, когда подбор материалов для работы по гносеологии русской иконы – окончен, мысленная и безнадежная полемика о том, прав ли был Гоголь, сжигая «Мертвые души», – утомила, а впереди- еще долгая русская ночь!

Часов однообразный бой,

Томительная ночи повесть.

(Ф.И.Тютчев. «Бессонница», 1829. – В.П.)

С.Н. очень любил ночные стихи и Тютчева и Пушкина: «Когда для смертного умолкнет шумный день», «Бессонницу».

Парки бабье лепетанье,

Жизни мышья беготня,

Что тревожишь ты меня?

Кажется, в 1918 году он написал рассказ, который так и назывался «Мышья беготня». Он посвятил его мне, потому что именно с этой, мышьиной, стороны я был ему тогда больше близок.

Но вот ударили к ранней обедне у Илии Обыденного. Уверенно, непобедимо, всегда спокойно зазвучали колокола, и темный хаос образов, тоски и наваждений исчез в лучах света, как

Миф, порожденный грехами,
Призрак, летающий ночью над нами,
Тающий в блеске зари.

(Гл. Сазонов)

Опять – «победа, победившая мир, вера наша!». Все ночное теперь воспринимается уже не в остроте притягивающего «познания добра и зла», а как этап борьбы. Я помню, что С.Н. любил эту строфу стихотворения Эллиса (Эллис (настоящее имя Лев Львович Кобылинский, 1878–1947) – поэт, переводчик, критик. – В.П.), его соучастника в «Мусагете»:

Белую розу из пасти дракона
Вырвем средь звона мечей.
Рыцарю дар – золотая корона
Вся из лучей!

Борьба духа есть постоянный уход от постоянно подступающего зла, в какой бы врубелевский маскарад это демонское зло ни наряжалось. Уход и есть уход, движение по пути, странничество, и в этом своем смысле духовное странничество, т.е. богоискательство, присуще всем этапам веры. Оно есть побег от зла.

В один из тех годов С.Н. написал мне большое автобиографическое стихотворение, которое начиналось так:

Что помню я из детства? – Сад цветущий
Да белых яблонь первый снег
И тихий звон к вечерне, зов, зовущий
Младенческую душу на побег.

А еще как-то вечером он взял с полки свою книжку «Вагнер и Россия» и на обороте обложки вместо обычного «от автора» написал мне экспромтом другие стихи, в которых были такие строки:

Тебе – что скажу, что помыслю?
Я дням своим воли не числю,
Я путник в бездолье равнин.

Русские путники всегда искали потонувший в озере Китеж, Церковь Невидимого Града, где уже нет ночи, а всегда благовест и служение Богу.

Благо тем, кто несет в себе до конца эту невидимую Церковь! Разве не про них Мельников-Печерский нашел где-то такие слова: «Хранит (их) Господь и покрывает своею невидимою дланью, и живут они невидимо в Невидимом Граде. Возлюбили они Бога всем сердцем своим и всею душой и всем помышлением, потому и Бог возлюбил их, яко мати любимое чадо».

Но Мельников-Печерский говорил это о простых мужиках, которые молча шли к своему Китежу, оттолкнувшись без особой тонкости от всей темноты мира. Мы на это плохо способны, слишком «тонкие», или попросту слабые в духовной борьбе. Одно дело писать о Китеже, а другое дело идти к нему.

У С.Н. была одна черта: казалось, что он находится в каком-то плену своего собственного большого и стремительного литературного таланта. Острота восприятия не уравновешивалась в нем молчанием внутреннего созревания, и он спешил говорить и писать, убеждать и доказывать.

Кроме того, наряду со всей остротой его познания у него была какая-то точно мечтательность, нереалистичность. То, что надо было с великим, терпеливым трудом созидать в своем сердце – святыню Невидимой Церкви, – он часто пытался поспешно найти или в себе самом, еще не созревшем, или в окружающей его религиозной действительности. Его рассказы о поездках в Оптину были полны такого дифирамба, что иногда невольно им не вполне верилось: не так-то легко Китежу воплотиться даже в Оптиной. Помню, однажды меня спросил К.Н. Игумнов (Игумнов Константин Николаевич; 1873–1948 – пианист, профессор Московской консерватории; с 1899 года, в 1924–1929 годах – ректор. – В.П.): «Скажите мне откровенно – можно ли вполне верить тому, что пишет и говорит об Оптиной С.Н.?» Очевидно, в нем был какой-то мистический гиперболизм, который давал неверный тон исполнения даже и совершенной музыкальной вещи. Если вместо слова «жизнь» говорить «житие», то от этого жизнь еще житием не станет. Этот неверный тон присущ многим, и некоторые замечают его в религиозной живописи Нестерова, с которым, кстати сказать, С.Н. был очень близок. Вот почему когда он молчал, не апологетировал, не убеждал, а только изредка, «в тихий час», в минуту сердечного письма, в одинокой молитве говорил переболевшие слова или только смотрел из-под очков своим внимательным, теплым взглядом, – тогда была в нем особенная власть, и именно тогда я любил его больше всего. В своей тишине он был из тех редких людей, которые обладают даром открывать людям глаза на солнечные блики на обоях. Ведь бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца и как странника

Божия может принять его просветлевшая вдруг душа. Десятки лет одиночества и труда, бесчувствия и греха могут тогда забыться, и в слезах поймешь, что «любовь Божия все покрывает, всему верит, всего надеется» и что «времени уже не будет». Увидеть это – значит вновь почувствовать путь Божий! С.Н. был странник, и поэтому именно он мог иногда гораздо лучше других открывать нам глаза на этот вечно теряемый и вновь находимый путь.

Вспоминается, с какой любовью и знанием дела он открывал нам смысл древней иконы. Икона не есть портрет, это видение святости, видение святого тела тех, кто озарен до конца благодатью. Лицо, озаренное Невечерним Светом, дается не в анатомической записи тленной плоти, а в молитвенном прозрении его еще непостижимой славы.

Вот почему в истинной, т.е. древней иконе свои слова, свои краски и линии, свои законы, нам, тленным, непонятные. Но древняя икона открывает не только глубину, но и широту христианства.

Однажды летом 1917 года С.Н. повел своих друзей в Кремль, показывать иконопись Благовещенского собора. Там есть большая фреска «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». В центре ее Богоматерь, а крутом вся вселенная и мыслящая и произрастающая, и люди, и горы, и цветы, и звери, и святые люди, и простые, и христиане, и древнегреческие философы – вся радующаяся тварь.

Кажется, в 1918 году произошло открытие рублевской «Троицы» в Лавре. Я был тогда там с С.Н. Перед нею горели золотые годуновские лампы, и в их отсветах, когда совершалась церковная служба, икона светилась немерцающим светом. Я помню, спросил С.Н., что он чувствует, глядя на нее, и он ответил: «Почти страх».

Любовь С.Н. к моему отцу была большая, я помню его горькие слезы после смерти отца, и эта любовь была взаимной.

Мне кажется, что они познакомились не раньше 1914 года, но уже в 1915 году отец в завещательном письме оставляет ему всю свою работу над изданием К. Леонтьева: это был знак полного сердечного доверия. Я не думаю, чтобы в С.Н. было когда-нибудь, даже в те годы – семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый, – о которых я пишу, что-нибудь от византизма Леонтьева, хотя занимался он им тогда усердно и в те времена, наверное, считал себя леонтьевцем. Любовь его к моему отцу имела другие причины: он видел в нем духовного отца, который сочетал большую религиозную жизнь с любимой С.Н. русской культурой XIX века. Через него он прикасался Оптиной еще 80-х годов прошлого века, Оптиной отца Амвросия, у которого были и Достоевский и Толстой.

Отец начал писать еще при последнем славянофиле – И. Аксакове, – хотя, несмотря на это, так и не сделался «писателем», а всегда был просто священником. Он никогда не выступал в Религиозно-философском обществе, где С.Н. был секретарем, кроме одного юбилейного вечера памяти Леонтьева в 1916 году, но его религиозная философия была для С.Н. очевидной и близкой. Это была философия религиозной России, любовь к которой С.Н. сливал с любовью к Богу.

Весной 1917 года он окончил свою речь о России в богословской аудитории Московского университета своими стихами. Я помню последние строки:

...Исстрадать себя тютчевской мукой,
Мертвых душ затаить в себе смех,
По Владимирке версты измерить,
Все познать, все простить –
Это значит: в Бога поверить!
Это значит: Русь полюбить!

Не кончивший даже гимназии, он сделался глубоким ученым в области русской литературы и театра, но, конечно, еще за несколько десятков лет до получения им почетного докторского звания он уже «все познал» и именно тогда – до священства – «все простил».

Я помню его маленькую стремительную фигуру на Арбате в 20-х годах: он идет в черном подряснике с монашеским поясом и скуфейке. Тень какой-то рассеянности и в то же время тяжелой заботы была на его лице, точно «все простить» ему уже было трудно.

Летом 1945 года я видел его в последний раз. Это было на его даче в Болшеве, «которую мне построила Анна Каренина», шутливо сказал он А.А. Сабурову, намекая на свою работу по литературной постановке в Малом театре.

Наше свидание (как и предыдущее – лет за десять перед этим) было свиданием только старых знакомых: нельзя было касаться дружбы в Обыденском переулке. Наконец он повел меня обедать. И вот когда мы проходили на террасу через какую-то комнату вроде гостиной, он вдруг меня остановил и, показав на большой портрет, закрытый белым чехлом, сказал: «Ты сейчас увидишь то, что тебе будет интересно». На портрете был С.Н. еще молодой, в черном подряснике, с тяжелым взглядом потухших глаз. «Это писал Нестеров. Я тогда уже не носил рясы, но Михаил Васильевич заставил меня еще раз ее надеть и позировать в ней. Он назвал эту работу «Тяжелые думы»". После этих слов С.Н. опять натянул, точно саван, белый чехол, и мы пошли на террасу.

Эпоха жизни С.Н. после ухода из священства мне почти совсем неизвестна, и я ничего не могу о ней писать. Да и в годы священства я его мало знал. Я все еще живу с ним до 1920 года. Когда изредка я встречал его священником после 1920 года, он был для меня гораздо меньше духовным отцом, чем в эпоху «Кипарисового ларца» и сушеной рыбки из Олонецкого края.

Там же висело бисерное «Благовещение», и, глядя на него, он учил меня тогда говорить: «Радуйся, Ею же радость воссияет».

Очевидно, сохранить веру, уже живую и трепетную, еще труднее, чем ее приобрести. Мне кажется, что С.Н. принял на себя в священстве не свое бремя и под ним изнемог. Как сказал Апостол: «До чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил.3,16). Нельзя жить выше своей меры, выше того, чего достигла душа. Он мог бы быть до конца «очарованным странником», которых так любила русская земля. Каждому свое, и для него, я думаю, даже больше «свое» было бы быть не священником, а «болотным попиком» Блока.

И тихонько он молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,
За большую звериную лапу
И за Римского папу.

Некоторые «отсветы мира» светят сильнее некоторых богословских диссертаций.

Недавно я узнал, что одна девушка молится Богу за упокой Диккенса – так благодарно ему ее сердце.

Тут мне хочется кстати упомянуть о Николае Николаевиче Прейсе, человеке, который молился за многих писателей. Андрей Белый где-то пишет, что в его чемодане, когда он путешествовал по Европе, всегда были три книги: «Критика чистого разума», томик Ницше и Евангелие. Но чемоданы А. Белого как человека состоятельного, наверное, носили носильщики или швейцары европейских отелей, а нищий чудак Прейс свою книжную котомку всегда таскал на себе. Это был весьма интересный человек, и я не представляю себе Москвы 1917–1918 годов без его небольшой сутуловатой фигуры в черном пальто или длинном черном сюртуке, в золотых очках и какой-то маленькой старой фетровой шапочке. Легкое бремя Христово он носил с собой всегда и везде, в черной клеенке, опоясанной двумя ремнями с деревянной ручкой, – совершенно так же, как мы, гимназисты, носили тогда свои учебники. В этой сумке был Новый завет, несколько книг св. отцов и поэты. Какие поэты, я не смогу сказать

точно, но подлинно знаю, что среди них был и Фет. Знаю также, что с годами удельный вес поэтов в сумке уменьшался. Но важно не это, важно было само явление Прейса, живой факт того, как человек веры любит мир, эту теплую землю человечества, настолько любит, чтобы собрать ее в свою котомку как драгоценное бремя страдания и любви. В Этом был символ, но этим символом был живой человек, появляющийся среди нас (я часто видел его с С.Н.) и нас иногда не замечавший, всегда погруженный в свою тревожную думу, всегда куда-то спешащий – то в церковь читать шестопсалмие, то на философский диспут в Мертвый переулок (слушать, конечно, а не выступать), то в Данилов монастырь на могилу Гоголя.

И столетья прошли,
И продумал я думу столетий.
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети.
(Блок)

В своей любви он старался сохранить перед Богом все Его «отсветы», все сокровища мира, ибо «так возлюбил Бог мир».

С.Н. не обладал этой детскостью веры, хотя больше всего к ней стремился.

В 1934 или 1935 году, т.е. уже много лет спустя после ухода С.Н. из священства, я написал ему письмо в стихах. Даже в слабых стихах иногда как-то легче преодолеть трудности темы.

Я вспоминаю двор угрюмый
И камень грязный у перил,
Там, где над домом и над шумом
Московский вечер проходил.
Усталость сердца, как вериги,
От непосильных дум и снов.
И глядя в сумрак, меркли книги,
Храня палящий пепел слов.
И в той же комнате, за шторой,
Где уходил Ставрогин в ночь,
Мы про калужские просторы
Мечты не смели превозмочь.
Иль сердце верило наверно?
Но ведь тогда ж, как вещей сон,
Явились Светом Невечерним
Нам краски тихие икон.

.....

Прости меня, что я словами
Тревожу в сердце след огня...
Томит меня опять ночами
Все та же мышья беготня.

«Калужские просторы» – это, конечно, Оптина. Там было что-то еще, пишу сейчас по памяти, но смысл был один: призыв к до-священническому светлomu и свободному другу. Посылая письмо, я мало на что рассчитывал: уже лежали между нами годы одиночества на разных путях. Кстати, сейчас вспомнил, как однажды С.Н., уже будучи священником, сказал мне как-то: «Сейчас время одинокое». И вот пришел ответ. Он писал примерно так: «Спасибо тебе. Я получил письмо, когда лежал едва живой в сердечном припадке, и я читал его в слезах». Тут же были выписаны строки Батюшкова:

О память сердца, ты сильнее
Рассудка памяти печальной!

Но переписка и общение дружбы между нами так и не восстановились.

Говорят, что перед смертью он много плакал, что он чувствовал ее приближение и сказал своей жене: «Можешь хоронить меня или как священника, или как мирянина, мне все равно», как бы заявляя этим, что он не отрекался от священства, а только отошел от него.

Передавали мне, что и епископ Стефан (Никитин) (см. о нем: ЖМП, 1963, №7, с.26. – В.П.), знавший его лично, говорил, что он никогда и нигде не отрекался от Церкви и не снимал сана.

Писать о нем мне трудно, потому что его болезни – мои еще больше, или как он мне сам написал в этом же письме: «На Страшном суде мы с тобой будем расплачиваться по одному векселю».

Когда-то, кажется, в 20-х годах, он читал в Московском богословском институте «курс аскетики», а жил он тогда в келий башни Боголюбской часовни у Варварских ворот. Мне говорил один человек, опытно и до конца жизни прошедший аскетическим путем, что когда он в этот период пришел к нему, то увидел действительно монаха-мыслителя, несущего силу и тишину.

Но «курс аскетики», т.е. учение о практике христианского пути, имеет одну особенность: если за него браться, то по этому курсу надо и идти, хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь. Это не «Размышление о Фаусте», закончив которое можно испортить существование своим ближним или окунуться в иной вид слепоты и самодовольства.

Вот почему чем ближе ко мне срок расплаты по векселю, тем мне все

страшнее жить

V

Милому Андрею Дмитриевичу с благодарностью за тепло дружеской поддержки – самое нужное в мире.

В одном своем автобиографическом рассказе С.Н. пишет: «Я хотел бы умирать, слушая, как через открытую форточку доносится благовест».

Если человек, так возлюбивший Церковь, так понявший всю ее историческую красоту и правду, все же от нее отходит, то не налагает ли это на нас, любящих его и «дающих ему последнее целование», обязательство хоть сколько-нибудь понять, в чем же все-таки то бремя, которого не выдержали его плечи? Что его смертельно испугало в Церкви?

Объяснение не уменьшает его ответственности, но оно может помочь другим людям преодолеть ту же скорбь на тех же путях.

Он увидел в Церкви неверующих под видом верующих и решил, что дело Христово не удалось. Это лучше пояснить не рассуждениями, а тоже воспоминаниями.

Лет двадцать пять тому назад я жил в провинции в доме одного бывшего обер-кондуктора. Уйдя в отставку, он мирно жил со своей старухой, сам тоже будучи стар, хотя типичные обер-кондукторские усы дореволюционного происхождения еще молодецки топорщились. Человек он был весьма благочестивый, еженедельно ходил в церковь и ежегодно говел. Однажды мы сидели с ним за чаем и беседовали. Сначала, помню, разговор шел о различных видах сбора «дани» старозаветными ревизорами с кондукторской бригады в виде, «так сказать, сливок с заячьего молока. Дедка, как я его тогда называл, с особым восхищением рассказывал об одном ревизоре, пользовавшемся таким способом: после обхода вагонов ревизор шел в купе к оберу и ложился спать, отвернувшись к стенке и поставив фуражку на противоположную лавку нутром кверху. Через некоторое время входил на цыпочках обер и клал в фуражку собранную с бригады дань. Еще через некоторое время он слегка отодвигал дверь и смотрел: если фуражка на месте – значит, мало.

Пили мы чай долго, и постепенно разговор перешел на серьезное – об умерших близких. И вот когда я сказал, что придет день, когда мы их снова встретим, я увидел, как в искреннем изумлении поднялись мохнатые дедкины брови: «Это вы как? Или всерьез? Ну, это все поповские сказки. Умрем – и шабаш, и все кончено! Ничего там не будет».

Очевидно, для неверия можно и не быть Базаровым, а достаточно быть обер-кондуктором и при этом ежегодно говеть. Не наука нужна для

неверия, а только холод сердца. Я много раз в жизни встречался с подобными фактами «неверия верующих», но каждый раз эти факты потрясают.

В конце XIX века было такое дело. Деревенская девочка возвращалась после пасхальных каникул из дома в школу и несла с собой немного денег, корзиночку с домашними пирогами и несколько штук крашенных яиц. На дороге ее убили с целью ограбления. Убийца был тут же пойман, денег у него уже не нашли, пироги были уже съедены, но яйца остались. На случайный вопрос следователя, почему он не съел яйца, убийца ответил: «Как я мог? Ведь день был постный».

За спиной этого человека ясно видны звенья длинной цепи (почему-то мне хочется сказать «византийской»), уходящей в века. Оказывается, что можно числиться в Церкви, не веря в нее, можно считать себя православным, не зная Христа, можно верить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в любовь.

Очень это, конечно, страшное дело, но мне представляется не менее страшным тот факт, что высоко над этими людьми, пропившими свою веру в ночных кабаках и на железнодорожных вокзалах дореволюционной России, стояли люди часто вполне порядочные, обладающие знанием и властью, саном и кругозором, которые все это величайшее духовное неблагополучие Церкви тщательно замазывали каким-то особым елеем словесной веры: «На Шипке древнего православия все спокойно». Ведь и дедка, наверное, мог прочесть «символ веры», а этот постящийся человек на дороге твердо отличал среду от четверга.

Что может означать этот факт для верящего в Церковь, но «немогущего в вере», по Апостолу, каким был С.Н.? Уж не померещится ли ему, что на Тайной вечери Церкви сидит не один Иуда среди одиннадцати святых и любящих учеников, а двенадцать не верующих и не любящих иуд? Уж не покажется ли ему, что не удалось то единственное и величайшее дело, для которого приходил Христос, – созидание на земле из любящих Его святой Церкви, Непорочной Невесты Божией? Что вместо нее в истории за стеной византийского устава, существует некая область неверия и нелюбви, область внешности без содержания, лицемерия и тщеславной пустоты, оцепенения комаров и поглощения верблюдов, холода и равнодушия души? Это всего только «призрак Церкви», но этот «призрак», или ее «двойник», совершает в истории страшное дело провокации: создает у людей впечатление, что иной Церкви, кроме него, не существует, что нет на земле больше Христовой правды, что нет на земле больше тела Христова, «плащаницей обвитого». Нестеров как-то

сказал о С.Н.: «Что всё осуждаете его отход от Церкви! Если хрупкую вазу бить молотком, она обязательно разобьется». Таким молотком был для «хрупкого» С.Н. призрак Церкви. Обман действовал всегда, но более крепкие люди, противодействуя ему, всегда искали и всегда находили истинную Церковь: шли в глухие монастыри и леса, к старцам и юродивым, к Амвросию Оптинскому или Иоанну Кронштадтскому, к людям не только правильной веры, но и праведной жизни. Они-то и есть истинная Церковь, живущая и в городах и в пустынях, а всякое зло людей, только причисляющих себя к ней, есть, как говорил о. Валентин Свенцицкий, зло или грех не Церкви, а против Церкви.

Но здесь есть один «секрет». Для того чтобы видеть в истории и хранить в себе как непорочную святыню истинную Церковь, неодолимую и от тех врагов ее, которые внутри ее исторических стен, нужна не только любовь к ней, но и всецелое покаяние в себе самом, в том числе и в этом самом грехе древнего фарисейства – неверии и нелюбви. «Я-то – лучше ли дедки? Не убивал ли я любовь Христову?» Только тогда яд «двойника» Церкви перестает действовать, так как Церковь есть неодолимость любви при постоянстве покаяния.

Был весенний вечер в Москве. Тогда шла первая мировая война. В газетах печатались сообщения о «новых победах русского оружия» и там же, тем же шрифтом, о новой постановке оперы «Чио-Чио-Сан». В самом начале Страстной недели отец служил всенощную и после «Се Жених грядет в полуночи» читал Евангелие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты...» И еще раз и еще раз «горе». Это горчайшее горе Евангелия все нарастает, все ширится и, мне кажется, звучит уже на весь мир. Я хорошо знаю своего отца и слышу в его голосе слезы, и страх, и великую тревогу, и страшную правду о том, что все это он читает про себя, про нас, про людей Церкви. «Дополняйте же меру отцов наших...» «Горе» стихает, потому что уже все сказано, но не прекращаются слезы о Церкви: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки... колькраты восхотех собрати чада твоя... и не восхотесте... Се, оставляется вам дом ваш пуст...».

Страшно было и так хорошо было это слушать! За окном была весна в арбатских переулках, а здесь – черный бархат риз и тишина Церкви, неодолимой во веки веков.

В память весенних служб отца у меня были такие стихи:

Когда весны капель покажет,
Что начался Великий пост,

Ты на божественную стражу
Шел сердцем тих, душою прост.
И не сказать теперь словами,
Как жизнь была с тобой тепла,
Когда в Четверг Страстной над нами
Свой счет вели колокола...

Дальше не помню, уж так давно все это было, если считать по календарю. Но хорошо помню: храм, полный народу, огонь и запах свечей и удары колокола по счету прочитанных Евангелий.

Один ли С.Н. не выдержал испытание? Один ли он оказался в «немощи веры»?

В 1921 году я был во второй раз в Оптиной пустыни, на ее закате. Недавно я прочел стихи неизвестного мне автора, начинающиеся так:

Ты, Оптина! Из сумрака лесного,
Из сумрака сознания моего,
Благословенная, ты выступаешь снова
Вся белизна, и свет, и торжество...

С каким непостижимым для нас терпением слушал меня старец отец Анатолий (старец Анатолий (Потапов) умер незадолго до окончательного закрытия Оптиной пустыни в 1923 году. – В.П.), – мне до сих пор стыдно вспомнить тот душевный хлам, которым я загромоздил его маленькую келью. Он почти не прерывал меня, только изредка вставлял два-три слова, перебирая четки, или вдруг порывисто шел в угол за какой-нибудь книжкой, листочком или просфорой. Это был человек, который все знал про меня еще до того, как я открыл рот, человек, который знал, что он должен взять на себя и мое бремя грехов. Очевидно, это совсем не аллегорическое бремя. Когда я лет через двадцать после этого (и после смерти отца Анатолия) показал его фотографию другому такому же, как он, старцу, никогда его в жизни не видавшему, тот вдруг начал со слезами и волнением целовать лицо на фотографии, воскликнув несколько раз: «Какое страдание! Какое страдание!»... Лицо отца Анатолия и в жизни и на фотографии светилось любовью и тем особым оптинским веселием, которое известно всем посещавшим старцев этого удивительного русского монастыря, но другому старцу было, кроме того, видно, что это – свет воскресения после Голгофы, не замечаемой никем. Я помню, что когда мое посещение отца Анатолия кончилось, он – маленький, в короткой полумантии – вдруг стремительно пошел к двери впереди меня, открыл ее в приемное зальце и пошел туда, подняв лицо к образу Божией Матери со словами: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И такое облегчение и такая

отрада были в его восклицании: ведь из духоты непросветленной души он выходил снова на просторы Божий!

Потом я пошел в скит. Дорога туда идет могучей сосновой рощей, сквозь которую (как сказал тот же неизвестный мне поэт)

Розовеют скитские ворота

И белеет хибарка твоя.

Там у входа простой работы –

Стерлись краски и позолота –

С черным враном пророк Илия.

Была середина мая, и в скиту уже распустились цветы. Я ходил по дорожкам, никого не встречая, и это безлюдье меня поразило своей точно предсмертной тишиной. Потом я услышал сердитое бормотанье и увидел Гаврюшу – юродивого, почитаемого старцами, с длинной палкой, в рубашке без пояса, с какими-то котомками на плечах. «Гаврюша, – сказал я, – что мне? Идти в монастырь или жениться?» И тут только, впервые в жизни, я увидел близко грозный взгляд блаженного. «А мне что! Хоть женись, хоть не женись», – в голосе была явная досада. Он пошел дальше по дорожке между цветов, потом вдруг обернулся и прибавил: «А в одном мешке Евангелие с другими книгами нельзя носить».

Мой вопрос был праздный: я тогда был одинаково не готов ни к монашеству, ни к браку. А замечание блаженного шло прямо в цель. Раздвоенность души – это все та же немощь веры, боящейся идти до конца за Христом. «Положивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царства Божия». Озирающийся назад уже и возвращается назад, уже изменяет любви. И С.Н., и я, и многие из моих современников оказались не готовыми к тому страшному часу истории, в который она тогда нас застала и в который Бог ждал от нас, чтобы мы возлюбили Его больше своего искусства, своего страха, своей лени и своих страстей. Тогда решались какие-то судьбы, определялись какие-то сроки, и можно ли было особенно тогда путать Евангелие с другими книгами?

Вот почему, хотя это было время еще живых оптинских святых и время юности, мне тяжело его вспоминать: слишком велика была вина и хочется скорее миновать эти блоковские годы раздвоения и измен.

Впрочем, а после них – разве не все те же измены? Выходит, что лучше ни на кого свою вину не сваливать, в том числе и на Блока, тем более что как раз им сказаны те слова, которые я хотел бы вспомнить и в смертный час:

Те, кто достойней, – Боже, Боже! –

Да узрят Царствие Твое.

(цитата из: А. Блок. «Рожденные в года глухие» – В.П.)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) – украинский религиозный философ. поэт, педагог. С.И. Фудель цитирует письмо Г. Сковороды его другу и ученику М.И. Ковалинскому (сентябрь-октябрь 1763). Новый перевод латинского оригинала письма см.: Сковорода Г. Сочинения в 2-х тт. М. «Мысль». 1973, т. 2, стр. 249.

2. ...старца Иосифа – оптинский иеросхимонах Иосиф (1837 – 1911), ближайший ученик и преемник великого оптинского старца Амвросия, ныне причисленного Русской Православной Церковью к лику святых.

3. ...манатейные монахи – монахи, носящие мантию. Монашеские одежды различаются в зависимости от трех степеней посвящения. Монахи первой (начальной) степени (так называемые рясофорные) носят рясу и камилавку; монахи второй степени, или малосхимники, надевают поверх рясы мантию и покрывают голову клобуком, иначе их называют манатейными; монахи третьей степени, или великосхимники, вместо клобука покрываются куколем (особая одежда с изображением креста, покрывающая голову, плечи, грудь и спину).

4. Старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексей (в мире Соловьев Федор Алексеевич) родился 17 января 1846 года в духовной семье; долгие годы служил диаконом в Николо-Толмачевском храме Москвы; с 1895 по 1898 год – пресвитер Большого Успенского собора в Кремле; оттуда он поступил в Смоленскую Зосимову пустынь; в 1916 году ушел в затвор; от монашествующих был избран членом Поместного Собора 1917–1918 годов, где ему было поручено тянуть жребий при выборе Патриарха, павший на митрополита Московского Тихона. После закрытия монастыря (весной 1923, года) о. Алексей переехал в Сергиев Посад, где и скончался 22 сентября 1928 года. Церковное предание уже давно фактически канонизировало зосимовского старца.

5. См. об этом: Монахиня Игнатия, «Церковно-песнотворческие труды инокини Кассии» («Богословские труды». Сб. 24. М. 1983, стр. 320–336).

6. Савва (в миру Тихомиров Иван Михайлович, 1819–1896) – археограф и палеограф, ректор Московской духовной академии, епископ Можайский (1862–1866), Полоцкий (1866–1874), архиепископ Тверской (1879–1896); автор обширных воспоминаний «Хроника моей жизни» (тт. 1–9, Троице-Сергиева лавра, 1898–1911).

7. О. Иосифу Фуделю посвящен неопубликованный очерк (восьмой) из воспоминаний Л.А. Тихомирова «Тени прошлого», включенный в

рукописный сборник «Воспоминания об о. Иосифе». Очерк датирован: Сергиев Посад, 1919.

8. Книга священника Павла Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» в полном виде впервые была издана московским издательством «Путь» в 1914 году. Ее более ранняя редакция появилась в 1913 году под заглавием «О духовной истине» в двух выпусках. См. подробнее: игумен Андроник (Трубачев), «Из истории книги «Столп и утверждение истины''' (в кн.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (II). М. 1990, т. 1, стр. 827–837).

Часть 2

VI

Горят во мне и жгут

Слова любви, не сказанные мною.

В этих строчках Бальмонта выражен закон всякого вида литературного писательства, и в особенности воспоминаний. Они только тогда оправданны, когда они не «о себе», когда они – «слова любви» к другим, «не сказанные мною». И иногда мне кажется, что мне возможно будет как-то выговорить именно такие слова об ушедших близких, слова, которые точно руками тронут их плечи в немой радости и скажут им, что они не одни и что мы не хотим быть одни, без них.

Поэтому я продолжаю воспоминания.

Лев Тихомиров, бывший член ЦК партии «Народной воли», а затем верующий и церковный человек и редактор «Московских Ведомостей», был близок с моим отцом еще в XIX веке. Его жена в начале 1901 года стала крестной моей матерью. К детской вере Лев Тихомиров вернулся в Париже, где он жил эмигрантом после убийства Александра II в 1881 году и разгрома партии, вернулся, кажется, под влиянием своего старшего сына Александра, тогда еще очень юного, а в конце концов ставшего епископом Тихоном и умершего в Ярославле, кажется, в конце второй мировой войны. Сам Лев Тихомиров умер в начале 20-х годов в Загорске (Л.А. Тихомиров умер в 1923 г. – В.П.), в своей семье и еще в своем доме на Московской улице (проспект Красной Армии, д. 30), но в большой скудости, почти в нищете. Я помню его великолепную квартиру на Петровке в эпоху редакторства правительственной газеты, на втором этаже особняка, с громадным его кабинетом и еще более громадным холодным залом, где очень редко кто собирался, а когда собирались, то, как мне рассказывали мои старшие сестры, было всегда скучно. Впрочем, все-таки там и танцевали немного, причем среди молодых людей бывал там и танцевал Симанский, будущий патриарх Алексей, а тогда лицеист московского лицея. С сыном Льва Александровича епископом Тихоном они потом были вместе викариями в Новгороде.

Скучно было у Тихомировых не только в зале, но и везде, и я, тогда еще совсем мальчик, это чувствовал. Лев Александрович давал тон всему, а это был человек, отрешенный от обыденной жизни и погруженный в жизнь мысли, жизнь горячую и живую, но замкнутую в себе и часто не замечающую живых людей.

Конечно, Лев Александрович боролся непреклонно и страстно в

книгах, статьях и выступлениях за тепло в мире, за сохранение этого уходящего из мира тепла, но не знал, что надо начинать с борьбы за тепло в собственном доме. Впрочем, даже этот холодок в его доме я любил и люблю за какую-то его особенную тихомировскую неотмирность. Он воевал за то, что он понимал как христианскую государственность, и свою жизнь воспринимал как жизнь в окопах этой войны. В ЦК «Народной воли» он когда-то ведал идеологической работой. После революции его не тронули: были еще люди, знавшие его безупречную и благородную партийную и личную жизнь. Но все-таки ему пришлось пойти в милицию (почему в милицию – не помню) и там отдать свою «декларацию», в которой он обязался подчиниться новой государственности. Он это сделал как выражение христианского подчинения власти, но кто-то в газете назвал его двойным ренегатом.

Потом он переехал в Загорск и, доживая там жизнь, писал «Тени прошлого», воспоминания о встречах на своем большом пути. Там было много о его прежних соратниках по революции, но была глава, посвященная и моему отцу (в опубликованную книгу «Воспоминания» Л. Тихомирова (М.-Л. 1927) очерк об о. Иосифе Фуделе включен не был. – В.П.), с такой характерной для вечно недовольного собой Льва Александровича припиской на полях: «Этот очерк никуда не годится и представляет только материал...».

Он в это последнее время жизни в Загорске, конечно, больше жил в тенях прошлого. Этим объясняется то, что он не сблизился с жившими тогда таи же Флоренским, Мансуровым⁹, Розановым, Дурьилиным и часто туда приезжавшим Новоселовым¹⁰. Флоренский ему казался каким-то модернистом. Не любил он и не понимал не только новые течения религиозно-философской мысли, но и искусство эпохи перелома, воспринимая его тоже только как «декадентство». Помню, как он с возмущением говорит, цитируя чьи-то стихи: «Вы только подумайте! Это называется поэзия:

Ходит месяц обнаженный
Пред лазоревой луной...»

(неточная цитата из стих. Валерия Брюсова «Творчество», 1895. – В.П.)

Не бывал он, еще живя в Москве, и в Религиозно-философском обществе имени Вл. Соловьева в Мертвом переулке. Во всем этом он оставался где-то в 80-х годах XIX века, неся свой трезвый подвиг мысли. Но тем более поэтому ценно, что именно он написал еще в 1906–1907 годах эту удивительную по религиозной актуальности и нужности статью

«О семи апокалипсических Церквах», в образе которых апостолом дано как бы начертание истории Вселенской Церкви. Я знаю, как высоко ценят эту статью многие люди и в наши дни. (Она была напечатана в журнале Московской духовной академии «Христианин» в 1907 году.).

Над темой Апокалипсиса он работал и в последние годы жизни в Загорске, написав «Апокалипсическую повесть», в которой весь сюжет художественного произведения, в том числе взаимоотношения мужчины и женщины, был дан на фоне последних лет жизни мира. Я помню из всего только имя женщины Лидия и ту обстановку, в которой происходило чтение. Мы сидели в столовой, угощением были какие-то не очень сдобные лепешки и суррогатный чай без сахара. Лев Александрович почему-то пил его с солью. Керосина тоже не было (это был 1918 год), и горели две маленькие самодельные коптилки, освещая на столе больше всего рукопись.

Апокалипсис был не только в повести про Лидию, но уже и в комнате.

В том Религиозно-философском обществе, которое мало интересовало Льва Александровича, я был первый раз в декабре 1916 года. Это был третий год первой мировой войны.

Заседание было посвящено двадцатипятилетию со дня смерти К. Леонтьева. С ним было много предварительных огорчений, как я понял из разговоров отца. Московский градоначальник публичное и открытое празднование юбилея запретил – Леонтьев и в 1916 году казался подозрительным, – в университете тоже ничего не вышло, и вот все ограничилось скромным собранием в соловьевском Обществе.

Первый доклад читал мой отец об отношениях Соловьева с Леонтьевым, а второй читал С.Н. Булгаков, читал так же страстно, как всегда он и мыслил и говорил. Помню, что он искал какого-то «выхода» из совершенно, конечно, чуждого ему Леонтьева, и при этом искал не для себя, а как бы для самого Леонтьева, искал в нем какой-то религиозной правды.

Мышление Леонтьева, имея весьма много ценного в своей негативной части, в своей критике современного прогресса, было в своей положительной части какой-то «дорогой в никуда». Истина его мышления – в констатации конца европейской мещанской демократии и цивилизации, но, оставив эту истину в одиночестве, не найдя от нее путей в историческое будущее человека, он из самой этой истины сделал какой-то тупик и мышления и жизни. И вот Булгаков без гнева, но страстно разламывал воздвигнутый тупик, вырывался на свободу неумирающей мысли и жизни христианства. Умирает европейская цивилизация, но вечно

живет спасенный Христом человек, созидавая свою историю – и в катакомбах и на просторах мира.

Заседания Религиозно-философского общества были, наверное, часто бесплодны и наивны, и я понимаю, почему Тихомиров их не признавал. Но даже я, несмотря на свою молодость, успел присутствовать на таких докладах, которые запомнились навсегда. Один из них читал Вяч. Иванов, «О границах искусства», – о том, что оно не безгранично и не всеильно, как это иногда думают даже и верующие люди. Сила доклада была в том, что его читал настоящий художник слова, поэт и философ. В. Иванов был во многом родственен Флоренскому, их объединяла какая-то онтологичность мышления и еще, может быть, общая «предыстория» их христианства: древняя Греция и Восток в своем ожидании Нового завета. У него была книга под названием «По звездам», и в моей памяти он сохранился как волхв евангельского рассказа, медленно на верблюдице приближающийся к тому месту, где лежал младенец спеленатый в яслях.

Помню, какое негодование вызвал этот доклад у Андрея Белого. Стоя в последнем ряду небольшого зала, где происходило собрание, он даже не говорил, а выкрикивал свои возражения, как-то иногда подпрыгивая вслед за словами. Доклад он явно воспринял как измену искусству и все предостерегал докладчика от страшной для него опасности – от какого-то апаса.

В эти и последующие годы А. Белый представлялся мне искусным мистическим фокусником: что только не вынимал он из своего цилиндра, поставленного на стол, – и Канта, и Ницше, и Гёте, и Штейнера, и многое другое, и, может быть, даже и утку, но только мистическую.

Но в одних своих воспоминаниях он искренно жалеет, что на фронтоне углового здания Московского университета, там, где на углу бывшей Никитской улицы помещалась домовая университетская церковь, нет более этой издали видной надписи: «Свет Христов просвещает всех». И он был один из первых, кто в печати приветствовал Флоренского.

Г.И. Чулков (Чулков Г.И., 1879–1939 – прозаик, поэт, критик, мемуарист – В.П.) говорил мне, что, когда А. Белый умирал, он пошел с ним проститься и унес с собой от этого последнего свидания что-то хорошее. Я не помню точных слов Георгия Ивановича об этом свидании, но точно знаю, что он, бывший «мистический анархист» и поэт, сотоварищ и Блока и Белого, член общества политкаторжан, был уже в это время духовным сыном Алексея Мечёва и, если бы не имел основания, так бы не сказал. О том, как вообще опасно выносить о ком-либо «судебный приговор», можно показать на записи речи Мережковского,

произнесенной тоже на заседании Религиозно-философского общества, но только петербургского. Тот самый Мережковский, которого мы так легко анафематствуем, вот как неожиданно глубоко отчитал В. Розанова за его толстовский адогматизм и отрицание богословского и обрядового вооружения Церкви. Мережковский сказал: «Мертвый камень (храма Св. Софии в Константинополе) таит в себе живую силу христианства, как в живом теле. Надо видеть этот храм, чтобы понять, что нигде не могла раздаться впервые «Херувимская» кроме как под твердым куполом Св. Софии. Такое чувство, как будто находишься внутри огромной золотой лилии, пронизанной солнцем: благоухание, дыхание, душа этой лилии, которая возносится к Богу, и есть «Херувимская». Но если бы не было твердой механики Никейского собора – то не было бы и твердых сводов Св. Софии, не было бы и «Херувимской»" («Христианское чтение». 1904, т. 218, с. 785).

У меня осталось благодарное воспоминание только об одной из вещей А. Белого (Бориса Николаевича Бугаева, сына известного московского математика) – об его «Северной Симфонии», в которой так вдохновенно в языческих формах передано предощущение Нового неба и Новой земли:

И понесся вдаль безумный кентавр, крича, что с холма
он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет...

Из докладов Дурьлина я помню его доклад о Леонтьеве (на том же вечере памяти Леонтьева в 1916 году). Доклад, как это часто бывало у Сергея Николаевича, был полон сплошного восхищения перед Леонтьевым, причем не только в отношении его исторических прогнозов и социальной зоркости, но и в отношении его явного примитивизма в чисто религиозной области, в отношении его метафизической слепоты.

Еще помню его доклад на тему «Апокалипсис в русской литературе». Это было уже летом 1917 года. Запомнилось, что в перерыве кто-то (кажется, Оболенский) убеждал Л.М. Лопатина, виднейшего тогда представителя русской философской мысли, выступить с возражением: «Вы должны сказать ему (докладчику), что выводы его о близости конца истории неверны, что по Священному Писанию сначала еще должно наступить тысячелетнее Царство Божье». Лопатин не выступал, и прений почти не было. У меня долгое время хранилось отдельное издание «Трех разговоров» Вл. Соловьева с надписью: «Л. М. Лопатину от автора».

С летом 1917 года у меня связано воспоминание о Тернавцеве (Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940) – богослов, публицист, один из основателей Религиозно-философского общества в Петербурге. – В.П.) и о его работе по Апокалипсису, которую он читал в московских

религиозно-философских кружках. Помню, что он был убежденный сторонник хилиазма, то есть веры в тысячелетнее Царство.

В докладе Сергея Николаевича хилиазм, под влиянием того же Леонтьева, замалчивался, а на нем следовало бы остановить мысль, даже и не вынося никакого приговора. Веры в тысячелетнее Царство держались, на основании 20-й главы Апокалипсиса, многие великие святые первых трех веков христианства. Хилиазм нигде и никогда не был осужден каким-либо Собором. Начиная с четвертого столетия он просто сам по себе замолк, уступая место теории христианства как осуществленного уже на земле, через Церковь, царства Божия. После Нантского эдикта¹¹ и торжества христианства над языческим государством в этом был как бы логический вывод. И не будет ли столь же логичным возврат к чаяниям хилиазма и некоторых людей после крушения всех их надежд на создание истории истинно христианской государственности?

Духовенства на этих заседаниях Религиозно-философского общества я что-то не помню, но рассказывали, что в таком же обществе, но в Петербурге, бывало много священников. Москва продолжала быть твердыней так называемого филаретовского духовенства, в общем безмятежно спящего в своих приходах.

Заседания московского Общества происходили в доме М.К. Морозовой в Мертвом переулке (теперь улица Островского). За столом президиума обычно сидели: председатель общества Г. А. Рачинский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, «православный софианец», по определению Вл. Лосского, и С.Н. Дурылин (секретарь). Рачинский был широко образованный и широко мыслящий человек, знавший, говорят, наизусть в подлиннике всего «Фауста», умевший объединять трудно объединяемое и премудро сглаживать ненужные углы. Печатная работа у него была, кажется, всего одна – «Об японской поэзии», но его опыт и философско-литературные знания, так же как прекрасный характер, делали его незаменимым в качестве председателя. Он очень уважал моего отца, и я помню его фигуру с седой, коротко остриженной головой на чтении Великого покаянного канона в Николо-Плотниковском храме на первой неделе Великого поста. На этих чтениях я помню также фигуры Нестерова, С.А. Котляревского и даже один раз Бердяева.

Однажды, на первый день Пасхи в 1917 или 1918 году, одна знакомая девушка предложила мне и своей подруге пойти поздравить Рачинского. Пасха была поздняя, день был безоблачный. Мы прошли длинный Трубниковский переулок, вышли через проходной двор в конце его, мимо церкви, на Кудринскую площадь (теперь площадь Восстания) и в начале

Садовой повернули куда-то влево, к Грузинам, уже не по оформленной улице, а мимо каких-то многочисленных небольших домов, занимавших среди молодой травы и уже распускающихся деревьев громадное пространство какого-то вольного поселка. Шел первый или второй год революции, но Москва точно по какой-то инерции еще жила прежним бытом: в ее небо со всех сторон ее «сорока сороков» бесконечно легко и радостно поднимался пасхальный звон. Это было точно уже неземное откровение великого земного города, часы и минуты точно уже единого и уже святого Града и христианского торжества. «Вниди и ты, грешный город, в радость Господа твоего, в его Непобедимую победу».

С.Н. Булгакова много раз я встречал и в 1916 и в 1917 годах. Помню его летом семнадцатого года в вестибюле Московского епархиального дома в Лиховом переулке, пытающегося в перерыве заседаний епархиального съезда как-то утихомирить и образумить группу бунтующих и кричащих псаломщиков, будущих живоцерковников. Я помню лицо Сергея Николаевича, когда он вдруг осознал, что -никакой логикой тут не осилишь, что тут просто бунт неверия в Церковь. На этом съезде тогда происходили очень ответственные выборы московского митрополита из двух кандидатов: Тихона, архиепископа Литовского, и А.Д. Самарина¹². Помню Булгакова, отвергающего проект наименования нового церковного журнала после закрытия всех прежних в том же семнадцатом году, – «Святая Русь». «Нельзя профанировать святое имя», – сказал Сергей Николаевич, и журнал был назван «Возрождение». Вышло его только несколько номеров. В номере третьем, кроме статьи С.Н. Дурьлина о церковном возрождении и статьи «Филадельфийская церковь», была помещена статья Сергея Сидорова «Обыденные храмы в древней Руси» с фотографией храма, сделанной Н.С. Чернышевым. Сидоров – это будущий отец Сергей, до сих пор многими людьми с любовью воспоминаемый священник, а о Н.С. Чернышеве я еще буду говорить дальше.

Журнал не случайно назвали «Возрождение». Некоторые современные православные из молодых и недавно пришедших в церковь, видя в нем зло греха и неверия, не знают или не хотят знать, что это зло родилось не сейчас, что оно есть зло древнее, жившее внутри церковных стен уже с Тайной вечери. Поэтому, отвергая «живоцерковничество» как перенесение в Церковь идеи и методов революции, и Булгаков, и Флоренский, и Свенцицкий, и Дурьлин, и Новоселов, и все другие церковные деятели и мыслители того времени одновременно ждали для Церкви возрождения в жизни истинной духовности, в освобождении от

государственного и бытового обмирщения и формализма. Все они тогда ждали наступления эпохи духоносной «Филадельфийской Церкви» после окончания своей «Сардийской» церковной эпохи, о которой в Апокалипсисе сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Имя этой мертвенности – замена внешностью внутреннего духовного бытия, то есть все то же обмирщение.

Помню Булгакова, колеблющегося вместе с Новоселовым и В.А. Кожевниковым¹³ над вопросом: издавать или нет рукописи Анны Шмидт¹⁴, загадочного русского мистика конца XIX века, не то больной, не то истинной пророчицы («о године свершения»), как-то связанной с Вл. Соловьевым, который, кажется, провожал ее гроб до могилы.

Помню острые и умные статьи Булгакова, в частности о Достоевском, о котором он говорил лучше всех, сам представляя из себя точно сплав всех трех братьев Карамазовых. Но все-таки Алеши было в нем меньше, чем Ивана, и поэтому, в те годы во всяком случае, в нем было слишком много профессиональной публицистики. Сам себя он называл тогда Колей Красоткиным.

Еще запомнилась мне одна всенощная у Спаса на песках, на Арбате, летом 1917 года, то есть еще до его священства. Возглашают: «Слава тебе, показавшему нам свет». Поют хорошо, то есть просто и тихо, и вечер московский был тих. Около входной двери стоит Сергей Николаевич, и по его глазам видно, как он любит этот свет и радуется, что до него дошел.

«Свет Невечерний» уже издан и, кажется, уже весь распродан («Свет Невечерний», изданный в 1917 году, был первой чисто богословской книгой С.Н. Булгакова, обозначившей новый этап в его творчестве. – В.П.). (На епархиальном съезде в вестибюле была продажа книг издательства «Путь», издавшего эту книгу.) Но сейчас для него, наверно, совершается лично что-то еще большее, чем в этой книге.

Флоренский продолжил и углубил Хомякова, а Булгаков – Достоевского в области русской религиозной мысли. Вполне возможно, что Булгаков мог впоследствии перейти какую-то меру богословствования о Софии и допустить ошибки, которых так ищут те, которым доставляет удовольствие производить над ними суд. Не будем участвовать ни в том, ни в другом. Богословие должно быть смиренно, как молитва, но и судить еще не смиренных мы не решаемся.

Человек, присутствовавший при смерти Булгакова, мне рассказывал, что он умер как праведник, весь потянувшись к уже ему зримому горнему миру.

О С.Н. Дурьлине хочется сказать еще несколько слов, так как

некоторые люди были ему многим обязаны, в частности будущий о. Сергей Сидоров. Он водил его, меня и Колю Чернышева в кремлевские соборы, чтобы мы через самый покой их камня и красок ощутили славу и тишину Церкви Божией, водил на теософские собрания, чтобы мы знали, откуда идет духовная фальшь, на лекции Флоренского «Философия культа», чтобы мы поняли живую реальность таинства, в «Щукинскую галерею», чтобы мы через Пикассо услышали, как где-то, совсем близко, шевелится хаос и человека и мира, на свои чтения о Лермонтове, чтобы открыть в его лазурности, не замечаемой за его «печоринством», ожидание «мировой души» Соловьева.

И в пурпуре небесного блистанья,
С очами, полными лазурного огня,
Явилась ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

(неточная цитата из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» – В.П.)

Это строфа из стихотворения Вл. Соловьева, а вторую строчку он взял у Лермонтова.

Те университеты, которые мы тогда проходили под влиянием всех людей, о которых я вспоминаю, а лично мы трое особенно под влиянием С.Н. Дурылина, в главном можно было бы определить так: познание Церкви через единый путь русской религиозной мысли, начиная от древних строителей «обыденных храмов» и кончая точно случайными отсветами великого Света у некоторых современных русских писателей, отсветами, осознанными как предчувствие «всемирного и творческого дня».

Третий из нас троих и наиболее близкий к С.Н. Дурылину был Коля Чернышев. Он был «тяжелодум», мыслил не по-интеллигентски быстро, а как-то по-мужицки медленно, но когда тяжелый пласт «средостения» у него снимался, было видно, что в его душе все свое, а не интеллигентски заимствованное, и все глубокое, глубинное, как слова из той древней «Книги голубиной», или «глубинной», которую мы тогда с ним читали. Читали мы тогда Тютчева, Блока, И. Анненского, «Три разговора» Соловьева и его стихи, Флоренского, Эрнэ, Эврипида, Розанова, каких-то ранних символистов, «Цветочки» Франциска Ассизского, «Древний патерик» и «Луг духовный». Мы не читали Достоевского только потому, что жили вместе с ним, нося его всегда в себе и уже давно его прочитавши глазами.

Дом Чернышева был на Немецкой улице, и в его большом и нарядном зале С.Н. Дурылин поставил в 1916 году как семейный спектакль пьесу

Крылова «Триумф», причем актерами были его ученики, и среди них Игорь Ильинский.

Сережа С. тогда был юноша с курчавой черной головой и красивыми восточными глазами: его мать была грузинка. Где-то в Курской губернии тогда еще жила в своем бывшем имении его тетка, и туда, к моей зависти, иногда ездили Сергей Николаевич и Коля, а я почему-то не мог ездить и оставался в голодной Москве 1918 года, зная, что там будут не только «пиры ума» – интереснейшие разговоры с Сергеем Николаевичем и Сережей, – но и достаточно сытные обеды.

Сейчас тем, кто не пережил этих лет – 1918–1920, – невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плыл свободный корабль Церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у о. Алексия Мечёва, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали. В Лавре снимали тяжелую годуновскую ризу с рублевской «Троицы», открывая божественную красоту. В Москве по церквам и в аудиториях вел свою проповедь Флоренский, все многообразие которой можно свести к одной самой нужной истине: о реальности духовного мира. В Московском университете еще можно было слушать лекции не только Челпанова, но даже и Бердяева, читавшего курс какой-то путаной, но все же «космической философии». Он же потом (кажется, в 1921-м) основал «Вольную академию духовной культуры» (ошибка авторской памяти: «Вольная академия духовной культуры» была основана Н.А. Бердяевым зимой 1918/19 года. – В.П.). В Москву из Петербурга приехал на жительство Розанов, сразу присмиривший от пережитого и уехавший умирать в Сергиев Посад (В.В. Розанов переехал в Сергиев Посад в сентябре 1917 года, где спустя полтора года умер от истощения (1919). – В.П.). Я, помню, провожал его на Ярославском вокзале, и он все меня благодарил. Он был тогда такой самый простой старичок с хитрецей, вернувшийся по мудрому страху к «вере отцов» и кстати решивший из благодарности за проводы, что я и Коля Чернышев должны жениться на двух его дочерях, совершенно нам неизвестных.

Далеко, далеко от меня это время – скудости и богатства, темноты и духовного счастья. Когда-то митрополит Филарет Московский перестал ездить на заседания в Синод, говоря, что «шпоры генерала (то есть обер-прокурора) цепляют за мою мантию». В то время, о котором я пишу, все шпоры были позади, и мы вдыхали полной грудью великую церковную

свободу. А скудость была большая, попросту – голод и поездки куда-то за Рязань в тамбурах и на крышах вагонов за хлебом и магическим тогда спасительным пшеном. Помню, как помогали сохранять и терпение и веру эти тогда написанные строчки Вяч. Иванова:

Вари пшено, и час тебе довлеет.

Ах, вечности могила глубока...

Мало остается близких от того времени людей. Иные и остались, но они. точно перемолоты в каких-то жерновах долгих десятилетий, и нужно дерзновение любви, чтобы прорваться через все занавесы времени к чистой душе этих первоначальных лет.

Вот наверху окошко светится,

Упав на белой мостовой?

Там, где легко мела метелица

Год революции второй.

Сереза ни в каком высшем заведении не учился, но был по-своему образован и так же самобытен, как Коля. Он хорошо знал русскую поэзию, мемуарную литературу и русскую историю, и в этой истории его любимым веком был XVIII. Он был романтик, ощущая тепло земли именно в этом аспекте, но романтика как-то легко и просто уживалась в нем с глубоким церковным чувством. Помню, я как-то сказал ему: «Почему в церковных песнопениях я больше люблю благодарственные, а не покаянные?» Он ответил: «Потому что ты еще очень юн в Церкви. Со временем все придет». Иногда он меня тоже спрашивал, но я, кажется, не умел отвечать. Как-то он спросил меня: «Можно ли сочетать христианство с влюбленностью?» Был он тогда влюблен в Таню Кожевникову, и я помню, как, отстоявши двенадцать евангелий в Великий четверг у нас в Плотниках, мы спешили с ним пешком (трамваи не ходили) в университетскую церковь на угол Никитской, чтобы увидеть ее при выходе «как мимолетное виденье».

Знал Сереза и какое-то продолжение, еще нигде не записанное, рассказов о русских подвижниках XVIII и XIX веков и XX, конечно, об этих чистых и странных для мира людях, не вмещавшихся в нем. Я из таких знал только Н.Н. Прейса, о котором уже писал, и А.Н. Руднева, умершего в 1920 году, ученого-филолога, ученика проф. С.И. Соболевского, много лет работавшего в библиотеке Московского университета. Это были праведники с высшим образованием, любившие мир Божий и прошедшие по нему, не запятив ничем своей к нему любви. Я бы не сказал, что они были последние, потому что и сейчас знаю таких. А.Н. Руднев не был женат, но был в многолетней переписке с одной

слушательницей московских Высших женских курсов, то есть по-теперешнему гуманитарного вуза. Она (Вера Ив. Л.), как и А.Н., любила посещать московские храмы, где ее особенное внимание привлекали блаженные и странники. Таких блаженных тогда было немало, и я их тоже помню, не только по монастырям, но и по Москве. Эти два человека, несомненно имея друг к другу большое чувство и живя в одном городе, вели друг с другом переписку, но никогда не бывали друг у друга и нигде не бывали вместе.

Сережа С., помню, прочел нам то, что он записал тогда об одном из таких людей (о Лучинском или Лучицком). Все забылось, кроме одного: как Лучинский любил ходить по московским улицам и переулкам в поисках тех мест, где когда-то давно, в веках, стояли сгоревшие или снесенные храмы. Много храмов было снесено и в любимом Сережей XVIII веке, что он хорошо знал, так что если и продолжал его любить, то без всяких иллюзий. И вот Лучинский искал и находил эти места и там, на улице, молился. Уже очень много лет спустя я слышал, как о. Серафим Битюгов¹⁵ придавал особое значение тому месту, где когда-то совершалась божественная служба и возносилась Чаша.

На этом чтении о Лучинском, кажется, был и Коля Чернышев. Потом он женился на моей сестре, которую как-то по-своему любил. Он учился живописи у Машкова и Фалька, совершенно отрицал Васнецова, но одну его картину он признавал – «Ивана-царевича на сером волке», и я знаю почему: ему казалось, что он – царевич (а может, и волк), а она – царевна.

Для жизни в браке надо иметь такое же призвание, как для жизни в монашестве. Может быть, Коле лучше было бы быть монахом. Я помню, с каким сердечным чувством он декламировал свое любимое стихотворение Блока:

Ветер стих, и слава заревая
Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
Он смиренно ждет звезды...
Но бежит шоссейная дорога,
Убегает вбок...
Дай вдохнуть, помедли, ради Бога,
Не хрусти, песок.
Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалика.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука?

Коля не выговаривал «л» и произносил «без кробука», звонко и светло повышая голос на этих словах. Он говорил и от себя и от нас, от нашего тогдашнего (в восемнадцатом и девятнадцатом годах) восприятия монашества – то ли в романтизме и ограниченности, то ли в истинном подвиге, широте и любви. Я не знаю. Многого в своей жизни я не узнал до сих пор.

В 1934 году зимой сестра умерла. Мне рассказывали, что, пока она лежала дома в гробу, он все бегал по улицам в тоске. Я ему написал из Вологды и получил в ответ стихи о ее смерти, в которых была такая строчка: «Не дрогнут мраморные пальцы...»

Отпевание сестры на дому совершил еп. Афанасий (Сахаров)¹⁶, как-то оказавшийся в это время в Москве в редком промежутке между своими бесконечными высылками. Я узнал его еще в 1923 году в зырянской ссылке. Это был епископ, сумевший сочетать в себе строгую уставность и даже формализм византийской эпохи Церкви с какой-то личной первохристианской простотой и легкостью. В одном письме ко мне он про себя говорит: «Я уставщик и буквоед и поэтому для «монастыря в миру» занялся бы его внешним уставом». И в то же самое время все, кто его знал, помнят его детский веселый смех и даже смешливость и его совершенно детскую простоту общения со всеми. Свое смирение и свою любовь к людям он нес внутри себя, где-то в крови, а не в виде облачения, полагающегося «по уставу». Поэтому-то он совсем не терпел той елейности обращения, той его фальшивой сладости, которая многими считается обязательной в отношении духовных лиц. Оптинский старец Лев (старец Леонид (в схиме Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, 1769–1841), первый из знаменитых оптинских старцев. – В.П.), основатель оптинского старчества, называл такое елейное отношение химерой.

Из разговоров с владыкой Афанасием особенно запомнился один. Я передал ему рассказ моего знакомого священника, присутствовавшего на вскрытии мощей одного великого русского святого и крайне смущенного тем, что нетленности действительно обнаружено не было, хотя внешне останкам была искусно придана форма сохранившегося тела. Передав этот рассказ, я сам со смущением ждал, как будет на него реагировать этот строжайший монах и обрядовер. Он помолчал, задумавшись, и вдруг сказал: «Когда мощи Александра Невского перевозили по повелению императора из Владимира в Петербург, они где-то по дороге попали в пожар и сильно пострадали. И вот было велено их восстановить скульптурно, так, чтобы никто ничего не подозревал». Потом еще помолчал и как-то еще тише добавил: «Один архиерей, когда я еще был

молодым. говорил, что к концу мира должен исполниться над святыми закон: земля еси и в землю отыдеши». Много соблазнов было бы отстранено от немощных в вере, если бы такое понимание этого вопроса со стороны епископа было бы распространено.

Ни в первохристианстве, ни в последовавших за ним ближайших веках не было этой убежденности многих наших верующих в том, что если человек святой, он обязательно должен быть нетленным. Макарий Великий в IV веке вообще отрицал возможность для христиан нетления. «Если бы человек стал бессмертен и нетленен по телу, – писал он, – то целый мир, видя необычность дела, а именно что тела христиан не истлевают, преклонялся бы к добру по какой-то необходимости, а не по произвольному расположению» («Слова». СПб. 1904, стр. 130). Вот как святые высоко оценивали свободу души!

С.Н. Дурылин привез впервые меня и Колю в Абрамцево летом 1917 года. Тогда оно было еще совсем не музей, а большой дом, полный личной жизни владеющих им людей. Помню на террасе за чайным столом совсем уже старого Савву Ивановича Мамонтова. Но мамонтовскую эпоху дома в этот приезд и в последующие я как-то не замечал, в частности Врубеля, весь погружаясь в воздух аксаковского гнезда (с 1843 года Абрамцево было имением семьи Аксаковых и важным центром русской культурной жизни – В.П.), тогда еще совсем теплого. Я впервые попал в этот мир уходящей эпохи и полюбил его навсегда. Я ходил по дому и буквально нюхал необъяснимо милый мне запах какого-то навсегда теряемого покоя. Ночевал я не раз в отдельном домике уже мамонтовской эпохи, но там был простой стол у окна, а за окном парк, и хотелось писать за этим столом что-то очень спокойное, доброе и нужное всем, может быть, продолжение «Записок об ужении рыбы». Но все-таки и я понимал, что, возвышаясь над всем, что есть в этом доме, и будучи в центре его, сидела эта девочка с ясными глазами на удивительном портрете Серова.

Кажется, этим же летом или осенью помню всенощную в абрамцевском храме. Шестопсалмие читал А.Д. Самарин. Мой отец давно знал его и высоко ценил, и, когда Александра Дмитриевича незадолго до революции назначили обер-прокурором Св. Синода, я помню, что отец пошел на телеграф (мы жили тогда на даче) и послал ему поздравление. Тогда шла глухая борьба против Распутина, против разложения правительства и церковного руководства, и назначение Александра Дмитриевича воспринималось как победа в этой борьбе. Помню неудачную попытку повлиять на лиц, ослепленных страшным мужиком, через оптинского старца Анатолия, привезенного для этого в Петербург.

Помню передаваемые из рук в руки, не помещаемые в газетах стенограммы антираспутинских речей в Государственной думе. Помню рассказ о том, что Распутин уже в полном ослеплении от своей власти послал на фронт великому князю Николаю Николаевичу телеграмму с уведомлением, что он выезжает к нему в Ставку, и краткий телеграфный ответ главнокомандующего: «Приезжай, повешу». Ужас и отвращение перед существованием над Россией Распутина были тогда так сильны, что, я помню, когда совершилось его убийство и я сообщил об этом иносказательно (в печати, конечно, ничего не было) по телефону одной знакомой, то она мне сказала: «Ну, слава Богу! Теперь осталась еще одна», намекая на императрицу. Здесь интересным фактом является только то, что эта знакомая дама была из очень почтенного общества и верующей семьи.

Явление Распутина страшно не потому, что был такой человек сам по себе, а потому, что он был выразителем и точно итогом многовекового затемнения в русской религиозной душе великой и трудной идеи святости. Русский человек вдруг оказался падким на тот самый соблазн, на который строго указал уже апостол Павел. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, – пишет он Римлянам как бы от имени этих соблазненных, – как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таких». Из «делать зло, чтобы вышло добро» русский человек сотворил себе дьявольский силлогизм: 1) «Не покаешься – не спасешься», 2) «Не согрешишь – не покаешься», а поэтому 3) «Не согрешишь – не спасешься». Путь к спасению стал утверждаться не против греха, а через грех. Как удобно! И мы хорошо знаем, что не только темные сибирские мужики, хитро иногда подмигивая собеседнику, могли развивать эту теорию своей практики о спасении через грех, но и вполне интеллигентные люди, ничего не понимая в истинной святости, могли и могут говорить нечто подобное (но, конечно, более деликатно), убежденно презирая, как они говорят, «всякое святошество». «Праведен суд на таких». Может быть, все положительное, что было и есть в послереволюционной религиозной мысли, надо было бы определить как возврат к апостольскому осознанию идеи святости, не имеющей, конечно, ничего общего со «святошеством», так же как истинное покаяние не имеет ничего общего, то есть несовместимо с грехом. Отец Амвросий Оптинский, передавая учение Отцов, говорил, что «покаяние не оканчивается до гроба и имеет три свойства: очищение помыслов, терпение скорбей и молитву. Три эти вещи одна без другой не совершаются», то есть без очищения и покаяния.

А.Д. Самарина я еще помню на литургии в Успенском соборе, уже

после епархиального съезда, на котором большинство всего в несколько голосов получил второй кандидат на московскую митрополию – Тихон. Когда подходили к кресту, который держал новый митрополит, я видел, как он с улыбкой привета и уважения сделал движение вперед к подходившему Александру Дмитриевичу.

Все современные моей юности Самарины были живыми носителями духа старого славянофильства, одного из наиболее неожиданных и светлых движений русских образованных людей XIX века, которому многим обязан не только Достоевский, но и Герцен. Недаром самый сердечный некролог на смерть Константина Аксакова был написан именно Герценом.

Светлая неожиданность славянофильства в том, что после давнего разложения образованного общества и его дехристианизации в XVIII веке возникло движение яркое, смелое и чистое к возрождению христианства в этом образованном обществе и к преобразению всей России на основе христианства. Суть славянофильства, конечно, не «славяне» и совсем даже не «народ» как таковой, а только христианский народ, то есть Церковь. «Славянофилы придавали и народности значение не самой по себе, а только как органу, призванному осуществить в жизни учение Христа» (Д. Самарин, «Поборник вселенской правды», СПб, 1890).

«Для России возможна только одна задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ» (Хомяков).

«Славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь» (Ив. Аксаков).

Возврат к чистому христианству – вот что такое старое славянофильство, имеющее очень мало общего с позднейшим национализмом и реакцией.

Эта суть славянофильства драгоценна нам теперь тем более, что всю широту понятия истинного христианства они уместили в ясное определение Церкви как богочеловеческого организма, то есть вернули эkkлeзиoлoгичeскyю к ee пepвoистoчннкy: к yчeнию aпocтoлa Пaвлa.

«Введение его (понятия Церкви) в наше религиозное сознание, – пишет Вл. Соловьев, – есть главная и неотъемлемая заслуга славянофильства» (т. 4. стр. 223). «"Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм истины и любви"- так формулирует Ю.Ф. Самарин взгляд Хомякова и свой» (там же)¹⁷.

Славянофильство мне вспомнилось вместе с людьми, тогда еще живыми, после того как я вспомнил службу в Успенском соборе. Собор был полон святыни, и он был полон русской историей. Когда в нем шла

служба, все это оживало, и святые на фресках, и вся Россия, страдавшая и радостная, умиравшая и снова несущая свою веру – свой Крест.

Однажды, наверное в 1914 или 1915 году, я пришел в собор ночью, на утреню с понедельника на вторник Страстной. Собор был совсем темный, немного страшный при мысли, что здесь стояли опричники Грозного в рясах поверх кольчуг. Что-то читалось, мерцали немногочисленные лампы, а потом вдруг с обоих клиросов начали сходить гуськом соборные протопопы в камилавках, священники и диаконы и встали в круг посередине перед амвоном. Их было много, человек двадцать, и вдруг они запели: «Се, Жених грядет в полунощи». Они пели басами (причт Успенского собора и подбирался по басам), и в их пении было что-то грозное, и в нем была все та же Россия.

Была у меня еще одна ночь в Кремле, но уже на площади, в мае 1913 года, когда открывали мощи св. Гермогена. По всей площади от соборов к Спасским воротам стоял или сидел народ большими и малыми группами, не расходившийся после всенощной в ожидании утреннего торжества. Горели во многих местах свечи перед иконами, раздавалось пение молебнов, не нарушая как-то общей тишины ожидания. Ночь была очень тихая. Можно ли забыть это видение Церкви, молящейся в самом центре большого города? Это была какая-то Пасха «среди лета», и в то же время это был 1913 год, то есть канун первой мировой войны, когда мы вступили в «свою», нам предназначенную эпоху, так что можно сказать, что, в то время как Страстная должна быть перед Пасхой, здесь Пасха была перед Страстной. Не означает ли это, что в христианстве одно от другого неотделимо?

VII

ЕПИСКОП АФАНАСИЙ

В духовном облике епископа Афанасия (Сахарова) было для меня что-то чуждое, но так как, несмотря на это, я его любил и люблю, мне хочется записать то, что сохранилось о нем в моей памяти, пока эта память еще действует.

Прежде всего мне кажется, что это мое в отношении его отчуждение он сам же во мне как-то уничтожил своим сердцем, полным любви. Он был один из тех русских епископов-подвижников XX века, «их же имена Ты, Господи веши».

Хотя неудобно начинать воспоминания о другом с воспоминания, так сказать, о самом себе, но для вводной и очень важной характеристики владыки я начну с одного его письма ко мне и обо мне. В конце 50-х годов он прочел мою работу «Путь Отцов», где я пытаюсь дать современному христианину, живущему «в миру», сборник для чтения по монашеской аскетике, вне которой непонятно то первохристианство, к которому, очевидно, постепенно будет возвращаться ход церковной истории. Вскоре я получил от него письмо о его впечатлении:

«Милость Божия буди с Вами, милый и дорогой мой Сереженька... (Владыка был старше меня лет на двенадцать – тринадцать.) Господь да поможет Вам шествовать «путем Отцов...». «Монастырь в миру» – на эту тему была написана большая тетрадь покойным отцом Валентином Свенцицким... Идея «монастыря в миру» для меня особенно дорога, и пропаганду ее я считаю существенно необходимой... Вы знаете меня, что я не аскет-созерцатель. Я уставщик, обрядовер и, может быть, даже в некоторых отношениях буквоед. Я, говоря о «монастыре в миру», стал бы говорить о внешнем поведении православных христиан – монахов в миру. Ваша книга – богословское обоснование «монастыря в миру»... С любовью обнимаю Вас и лобызаяю, и паки прошу прощения. Спасайтесь о Господе. С любовью богомолец Ваш епископ Афанасий».

Тут все его: и «буквоедство», и любовь смиренной и великой души старца-епископа, одного из тех редчайших людей, которым хочется поклониться до земли и припасть к коленям, ища у них их неоскудевающего мужества и неугасимого тепла. А поклониться можно было бы, даже если знать только одни чисто внешние факты его жизни. Кажется, из тридцати трех лет его епископства он только вначале три года был свободен и руководил своей епархией, а остальное время провел в

лагерях и ссылках. Ссылки были в промежутках между лагерями, «для некоторого отдыха», как он, улыбаясь, говорил. А в лагерях проходил он всякие общие работы, включая и такие, как вывозка нечистот.

В самом еще начале этого его «хождения по мукам» я его увидел впервые в 1923 году в Усть-Сысольске, или Сыктывкаре. Тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Жил он в пригороде Усть-Сысольска Искаре со своим келейником и добровольным спутником иеромонахом Дамаскином. Они занимали одну большую светлую комнату. В ней был стол, два небольших диванчика, стоявших за занавеской спинками друг к другу, и в углу у икон небольшой столик, служивший престолом для литургии. Из архиереев тогда были в том же городе: Кирилл – митрополит Казанский, Николай (Добронравов) – архиепископ Владимирский, Фаддей – архиепископ Астраханский¹⁸ и кто-то еще. Время от времени появлялись и целые партии архиереев, но их обычно тут же расселяли по другим городам и селам, а те, которых я назвал, были уже вроде местных старожилов.

Пел и читал во время богослужений владыка Фаддей, а у владыки Афанасия не было ни слуха, ни голоса. Он служил довольно часто, так как в местную церковь никто из нас не ходил: там были живоцерковники. Конечно, он мог бы иметь и полное архиерейское облачение, но он предпочитал служить в простой, холщовой, священнической фелони, только сверх нее надевал омофор. И митра у него была не обычная, не высокая и не сияющая искусственными бриллиантами, а маленькая, матерчатая, по образцу древних митр русских святителей, без камней и украшений, только с иконками. Говорили, что она и поныне цела. В этом была какая-то мудрая мера. Служение в комнате предъясвляет духовные требования и к внешности: пышность византийского обряда становится в комнате чем-то громоздким, ненужным и даже досадным. Я особенно почувствовал эту, так сказать, диалектику истории, когда однажды в том же крае, в селе Серегове, был на богослужении в комнате у епископа Аввакума, уфимского викария. Это был тоже молодой, очень образованный и приветливый человек, еще совсем недавно перед этим бывший профессором математики в Казани, а до этого, как говорили, увлекавшийся анархизмом, человек, конечно, совсем не византийских вкусов. Но он жил в доме, полном монахинь из только что закрытого там Сереговского монастыря, недалеко от Усть-Выми, монахинь, его приютивших и его опекавших. И вот я видел, как он покорно облачался в полное и великолепное архиерейское облачение, точно заполнившее всю комнату и делавшее ее как-то еще более тесной.

На богослужении у владыки Афанасия были только свои ссыльные по делам Церкви. После окончания службы полагалось обильное, по мере возможности, конечно, и, во всяком случае, очень оживленное и веселое кормление всех присутствующих. Простота отношения к нам владыки не допускала даже намека на ту фальшивую елейность, которая почему-то многими считается каким-то хорошим тоном для общения с людьми духовного звания. Одна знакомая рассказывала, как за такой же вот веселой трапезой после богослужения владыка, высмеивая елейность, сказал, передавая кому-то чайную ложку: «Возьмите эту ложечку, ею сам владыченька кушал».

Он не любил акафистов и тяготился тем, что некоторые их составители присылают их ему на оценку и благословение. В современных акафистах угнетает искусственность их составления, обязательность этих именно 144 «радуйся», хотя невозможно человеку 144 раза подряд радоваться, это и тематическая и даже словарная стандартность. Каноны, составлявшиеся в древности, неизмеримо глубже, свободнее и богаче акафистов. Помню, как владыка говорит: «Вот опять прислали новосоставленный акафист святому. Вы знаете, как они теперь составляются: берется житие и перелagается отдельными стишками, с прикреплением к каждому слова «радуйся». Вот и в этом: в житии святого был случай, что он, не желая нарушить закона любви, в постный день не отказался в гостях от рыбы. В акафисте насчет любви сократили, и получился такой стишок: «Радуйся, иже в пяток от рыбных пицци не отказывайся». И тут владыка залился своим добрым смехом.

В его же комнате было и мое венчание. Венчать нас должен был митрополит Кирилл, но его за неделю до этого дня неожиданно перевели в другой городок, где он жил потом вместе с епископом Николаем Петергофским, будущим известным митрополитом Николаем Крутицким. Но зато «Исайя, ликуй» нам пел владыка Фаддей, а напутственное слово сказал, кроме венчавшей, владыка Николай (Добронравов), причем оно состояло всего из четырех слов по-латыни: *per crucem ad lucem* («Через крест к свету»). Для всех архиереев я по просьбе владыки заказал столяру деревянные посохи, длинные некрашенные палки с утолщением наверху. Владыка всегда ходил с посохом: и на регистрацию и на прогулку. Он даже на суд пришел с посохом и так с ним и сидел на скамье подсудимых. Этот суд был какой-то мимолетный и не совсем понятный эпизод. Кажется, что-то где-то заподозрили незаконное в действиях лиц, подчиненных владыке, когда он еще был на свободе, в своей епархии. Может быть, во время изъятия церковных ценностей, не помню. Прокурор

говорил большую речь, мы все волновались, но кончилось все благополучно, и владыка пошел домой со своим посохом, окруженный нами.

Для всех ссыльных священников владыка любил делать очень искусно иерейские кресты из картона и бумаги, золотой и серебряной, и священники, когда совершали богослужение, всегда их надевали. Был при этом случай, который смутил и огорчил владыку. Сделал он одному священнику «золотой» крест. Тот его с удовольствием принял, но тут же попросил написать ему удостоверение в том, что он «награжден золотым крестом». Оказалось, что он у себя в епархии имел только серебряный. Огорчила владыку, конечно, эта деловитость да и собственная неосмотрительность.

За недостатком икон владыка делал и маленькие иконки разных святых из вырезанных где-нибудь их изображений, из материи, картона и бисера. Входишь из кухни в его комнату, и в ней обычная картина: тишина, в углу горит лампадка, а за столом владыка или пишет, или клеит иконки. Это при его живом характере вместо разъездов по епархии! О. Дамаскин, келейник, был человек исключительно преданный ему, но человек болезненный. Иногда у него делались какие-то приступы неудержимой тоски. Он тогда от всех убегал, странствовал где-то по улицам и полям, не одетый, без шапки. Приходилось его искать и вести домой. Так что та тишина, которая окружала владыку, была совсем не такая простая и легкая. Это была тишина подвига. Он был настоящий монах. Помню, он говорил: «Если бы было нужно иметь в Церкви не семь, но восемь таинств, то я хотел бы, чтобы этим восьмым было монашество». Тем самым он был, конечно, строгий постник. Для того чтобы показать, насколько пост угоден Богу, он как-то рассказал про себя: «Особенно я старался в тюрьме соблюсти именно Великий пост как подготовку к Пасхе и заметил, что на пасхальные дни Господь всегда посылал мне и в пище великое утешение и обилие. А вот однажды было так: перед Пасхой меня отправили на этап, перевод на другое место, и на этапе я не выдержал и поел рыбных консервов. И вот это была самая трудная и самая скудная для меня Пасха!».

Можем ли мы вообще представить себе эту лагерную Пасху и ее скудость! Молящимся мы его видели только во время всенощной и обедни, но, конечно, они с о. Дамаскином вычитывали все установленные на день службы богослужебные правила. Об этом можно судить хотя бы по тому, что уже в Петушках, то есть в последние годы его жизни, он, уже старый и слабый, неуклонно выполнял это ежедневное молитвенное «стояние на

страже». От тех, кто тогда приезжал к нему с ночевкой, неоднократно я слышал: «Бывало, утро зимнее, темное, в комнате еще не тепло, спать хочется страшно, но из-за стены слышно плесканье рукомойника и добрый голос владыки: «Вставайте, вставайте, ленивии», причем это последнее слово он произносил по-славянски, с двумя «и» на конце. И владыка начинал длинное утреннее правило». Его душа звала близких участвовать в подвиге, но его доброта, конечно, никого не принуждала и, самое главное, никого не осуждала. Он был строг к себе, но не к другим. Это я очень хорошо знаю. Материально владыка там, в Усть-Сысольске, не бедствовал, получал посылки и помощь от близких. Тогда была жива еще его мать, которую он очень любил (она умерла в 1930 году, и это было для него, как он сам говорил, величайшим горем). И тут его доброта выражалась в материальной помощи другим людям, причем не только близким. Помню, что моя сестра понесла от него большую пищевую передачу в тюрьму совершенно чужим ему по духу людям. Это были эсеры, и тут, кстати сказать, произошло одно «осложнение». Когда его передача была передана их вожакам (а сидели они все вместе, большой группой, в какой-то закрытой церкви), то у этих вожаков возникла серьезная принципиальная проблема: «Можно ли принимать помощь от церковников?» Большинство этих вождей склонялись к тому, что нет, и только решительное противодействие одного из них (Вани Кашина) спасло положение, и, как потом рассказывали, он, лукаво поблескивая очками, внес к голодному и обрадованному рядовому составу громадный поднос с котлетами и со словами: «Владыка благословил рыбкой».

После моего венчания я поступил на работу в городе, который отстоял примерно в двух верстах от нашего жилья. Вскоре моя жена заболела и почти весь день должна была проводить одна в ожидании моего возвращения с работы. Единственной ее опорой и утешением был владыка. Он приходил, подметал пол, приготавливал пищу или приносил что-нибудь с собой, причем, я уверен, не забывал принести и что-нибудь сладкое, так как он сам его любил и всегда говорил с улыбкой: «Во-первых, я сам Сахаров, а во-вторых, все духовные должны есть побольше сладкого».

Таким же владыка остался и освободившись от своих «университетов» и поселившись, после 1953 или 1954 года, в Петушках. К этому последнему периоду его жизни относится его открытое письмо Ольге Илиодоровне Сахарновой, явившееся для многих людей поворотным пунктом в их отношении к Церкви. В этом письме, которое лучше назвать посланием епископа, было дано благословение всем, кто еще уклонялся тогда от общения с Церковью по мотивам незаконности ее высшей

иерархии, войти в полноту этого общения. Этим посланием епископ, оставшийся после тридцатилетнего лагерного стажа совершенно таким же, каким он был всю жизнь, утверждал какое-то недомыслие, нелепость ухода в раскол и необходимость сохранения единства церковной ограды даже и в том случае, если она все больше наполняется духом, чуждым ее апостольской чистоте. Конечно, владыка уже знал в то время благодатную формулу об этом отца Валентина Свенцицкого: «Грех в Церкви есть грех не Церкви, но против Церкви».

Ольга Илиодоровна была одна из близких ему людей, когда-то в юности знавшая еще отца Иоанна Кронштадтского, а в это время пребывающая в каком-то недоумении раскола. Я ее знал в течение пяти лет в Сибири, причем последние два года она пребывала там совершенно добровольно, только для того, чтобы обслуживать уже совсем больного и старого отца Дмитрия Крючкова. Только похоронив его на глухом сельском кладбище, она вернулась в родные места и жила до смерти в Загорске. В петушинский период, хотя владыка не стал епархиальным архиереем, а жил там как частное лицо, его церковная деятельность неизмеримо расширилась. Он получил возможность ездить во Владимир, в Москву, в Загорск. К нему все время приезжали отовсюду люди за духовным советом. Он начал интенсивно работать над приведением в порядок богослужебных книг. Несколько раз его приглашали участвовать в архиерейском служении – во Владимире, в Загорске («Лавра и та и не та», – сказал он о своем впечатлении от лавры). Во Владимире он служил на праздновании восьмисотлетия города, и его служение привлекло толпы народа, из которого еще многие могли знать его в начале 20-х годов, когда он был владимирским викарием. Служить в петушинском храме по архиерейскому чину ему не разрешили, а служить как простой священник он не захотел. Когда он мне об этом рассказал, я, кажется, впервые увидел, что он может сердиться. «Я сам знаю, как мне служить», – сказал он.

В этот же период столько людей в разных городах получали от него письма или открытки с фотографиями икон и с письменным обращением на обороте, всегда таким ласковым и простым, к Пасхе, к Рождеству (вторые обычно начинались словами: «Христос рождается!»).

Владыке сшили новую рясу, и иногда его можно было встретить на московских улицах – по всему своему облику, по этой рясе, по длинным волосам, по дорожному посоху человека не этого мира, а каким-то образом сошедшего с иконы в наш атомный век святителя допетровской Руси.

В это же время его пригласили для работы в Патриархии, в комиссию

по церковному Уставу. Он, правда, недолго в ней работал, его скоро освободили. «Не умел ладить с начальством», – писал он в одном письме. Но, может быть, в этом отстранении его выразилась, хоть и уродливо, какая-то закономерность церковной эпохи. Когда его назначили в эту комиссию, кто-то сказал: «Владыку назначили председателем комиссии по отцеживанию комаров». Соблюдение богослужебного Устава, то есть Типикона, надо уважать и по мере сил соблюдать. Только не надо этот Устав догматизировать, считать, что Типикон – это «бог вдохновенная книга», то есть книга, равная Священному Писанию, а именно это определение Типикона приводит владыка с одобрением в своей работе 50-х годов «О поминовении усопших по Уставу Церкви». Ужасно, когда из-за нежелания войти в труд молитвы, из-за духовной лени сокращается богослужение, то есть нарушается Типикон. Но ужасно и то, если «на плеча людям кладутся бремена тяжкие и неудобноносимые». Если Типикон есть требование во всем меры, то и наше отношение к нему самому не должно быть безмерным. Он в смысле своих детальнейших правил есть нечто условное, а не безусловное, как Слово Божие. Было время, когда этих правил не было. Надо осознать, что Типикон создавался в византийском средневековье в монастырях и преимущественно для монахов или вообще для людей, свободных от других обязанностей, семейных или служебных, создавался для выполнения всего большого суточного богослужебного долга. Вот в нем запрещено в воскресные и праздничные дни за литургией возносить открытые моления об усопших, и владыка в своей работе правильно показал, что это только для того запрещено, чтобы не отвлекать молящихся во что-то хорошее, но все же личное, в личное горе, от вселенского, всецерковного литургического торжества. И что желающие литургически молиться за усопших могут сделать это в любой другой, то есть не праздничный и не воскресный, день. Он правильно рассуждал, так же как и составитель этого запрещения в каких-нибудь VIII-IX столетиях, видя монахов или других людей, имеющих возможность посещать храм в будние дни. Но если современный нам и еще работающий где-нибудь в учреждении или на заводе человек только в воскресенье и сможет попасть в церковь, и то только, может быть, от скорби по своим усопшим, то не понуждает ли нас любовь к нему, к миллионам таких как-то молиться об усопших и в воскресный день? Но, конечно, это очень трудный вопрос. Прикрываясь любовью, можно уйти по дороге живocerковничества. Без духовного рассуждения, соблюдая Типикон, можно действительно заняться «поглощением верблюдов». Без Устава может возникнуть произвол, с Уставом на плечи может лечь невыносимое бремя,

противоречащее закону любви и тому самому чувству меры, которое должен осуществлять Устав.

Очевидно, правильно мыслил о. Павел Флоренский, говоря, что в Уставе надо различать две стороны – духовную и внешнюю. Первая – это животворящий страх Божий перед участием в богослужении, необходимость нашего молитвенного труда и в нем порядка. Вторая сторона – это буква Устава, которая иногда может и мертвить, это всевозможные конкретные установления относительно этого порядка, размещение и построение фактически уже существующих в практике богослужебных частей. Первая незыблема, вторая же меняется, как условная. И может меняться в зависимости от сокращения или включения в богослужение новых частей или от создания новых богослужений. До IV-V веков в богослужении не было ни «Херувимской», ни «Святыи Боже...», ни нашего «Символа веры», ни многого другого. До IV века не было богослужения даже для такого великого праздника, как Рождество Христово. Первая же сторона существует с самого основания Церкви, она есть сама суть богослужений и нашего стояния перед Богом. Она не зависит от прибавления или убывания частных богослужебных частей.

Только твердо держась духовной стороны Устава, можно избежать противоречий относительно него и, что главное, получить действительное оружие против духовной смерти, проникающей в церковное человечество, уже давно проникшей в него, причем еще в эпоху полного и безраздельного господства Типикона. Об этом говорит и история Византии и история России XVI-XVII веков. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Эти слова были сказаны в I веке, то есть тогда, когда у Церкви еще ничего не было, кроме Слова Божия и огня Пятидесятницы. Но в этом и было действительно все, что надо было «держать», в этом была и есть вся полнота бытия, и в этой полноте живет и духовная сторона Устава. Если мы и будем ее в себе держать, нам будет чужд богослужебный произвол и молитвенная лень, и мы будем жить в духе первохристианской Церкви с ее горением в непрестанном молитвенном труде, с ее апостольским чувством меры, строя и страха Божия.

Во владыке же чувствовалась какая-то недооценка значения для нас первоначального христианства. Помню, он еще в Усть-Сысольске говорил: «Из двух слов, «христианин» и «православный», мне милее и дороже второе». И это будет понятно, если вспомнить, что слово «христианин» появляется уже в «Деяниях святых Апостолов», за тысячелетие до Типикона. В тех же «Деяниях» рассказывается, что тогда «все верующие

были вместе и имели все общее... и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца». А вот владыка как-то рассказал мне один поразительный факт: когда ему в его скитаниях в Сибири однажды посчастливилось случайно соединиться в какой-то глухой ссыльной деревне с митрополитом Кириллом, очень им всегда уважаемым и действительно великим иерархом, то это счастье длилось у них, оказывается, недолго.

«Пришлось нам,— рассказывал мне владыка, — через некоторое время поселиться врозь, и все из-за расхождений по Типикону». Не в силах был дать им Типикон ни единодушия, ни «простоты сердца». Но при всем том владыка понимал, что Церковь входит в какую-то иную эпоху своей истории, чуждую некоторых установившихся традиций и понятий.

Последние годы владыка был точно в каком-то смятении чувств. То, что совершалось и в стенах Церкви и в мире, вызывало в нем глубочайшую тревогу. Он стал сомневаться даже в правильности своего «ухода на покой», в этом своем, как ему стало казаться, уклонении от участия в борьбе со все усиливающимся злом. «Не попросить ли мне о назначении меня на епархию?» – спрашивал он близкого ему человека. Кажется, в это время его «повысили», сделали архиепископом, но разве это могло ему помочь? Он так и не собрался поехать в Москву для получения звания. Какое-то горестное недоумение и скорбь о все увеличивающемся обмирщении Церкви выражалось и в разговорах его и в письмах.

Так он и умер в 1962 году. Но перед смертью он сказал близким о том, где же выход. «Вас всех спасет молитва» – это были его одни из самых последних слов. А в работе «О поминовении усопших» он когда-то, в 50-х годах, писал: «Каждый должен молиться о всех». Так он остался верен своей сути, своему монашескому молитвенному духу, который, если он истинный, есть, конечно, дух первохристианский. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть ... Непрестанно молитесь», – слышим мы в первохристианстве. Я узнал о его смерти в Москве и поехал в Петушки. По дороге смущала мысль: неужели я больше не увижу его лица? Ведь, по традиции, лица духовенства и монашествующих после смерти закрываются материей. В дом было трудно войти. Народ стоял во дворе, на лестнице, в комнатах. Мне уже рассказали, что приехал от Патриарха для совершения похорон архиепископ Симон, близкий человек владыке, что похороны будут во Владимире с участием и владимирского архиерея. Наконец я вошел в комнату, где люди стояли вплотную и где в углу у гроба священник читал Евангелие. Я взглянул на гроб и был поражен: передо мной в полном голубом архиерейском облачении лежал с совершенно

открытым лицом владыка. Где же традиция? Все отошло перед иной правдой. Лицо было невероятно скорбно. Перед нами лежала страдающая за нас и молящаяся за нас любовь.

17.XII.75.

VIII

Теперь я попытаюсь подробнее записать то, что осталось в памяти от моих тюремных и ссыльных лет, эпохи и моего страдания и счастья.

Было часов шесть утра в середине июля, когда я вышел из дома, стоявшего в старом парке под Москвой, чтобы ехать к себе на Арбат. Цвели липы, и воздух был полон покоем и чистотой Божьего утра. Я уже с вечера знал, что в Москве у меня на квартире засада, что мой арест за выступление против живоцерковников неизбежен, и все же утро было такое, что, когда я увидел у самой стены дома человека в черной гимнастерке, с наганом в руке, я как-то не сразу связал его с тем, чего ждал и к чему был подготовлен. Я почувствовал только вопиющее, невероятное несоответствие этой фигуры всему, что ее окружало. И тут же сердце заныло от боли по уходящей свободе. Из-за угла вышла вторая фигура, тоже с наганом, и меня вполне драматически повели на вокзал.

Тогда, в 1922 году, были времена, так сказать, еще архаические, и даже во внутренней тюрьме, куда меня через два с половиной часа привезли, еще сохранилось кое в чем древнее простодушие. Со мной при выходе из дома были две книги по русской филологии, кожаный портфельчик и маленькое Евангелие на славянском языке. И вот с этим багажом меня и ввели в предварилку. Это был ряд комнат в полуподвале, на первый взгляд самых обычных, с окнами во двор, откуда несло монотонное и деловитое пение электропилы, напоминавшее мне зубоврачебную бормашину. Но окно было закрыто высоким щитом, в нижние просветы которого можно было наблюдать – в яме перед окном – бесшумно путешествующую крысу.

Предварилка – это нечто вроде проходной комнаты. Люди приходили и уходили, редкие оставались дольше двух дней, никто не успевал ни с кем сблизиться, все были растеряны, старались говорить о посторонних вещах и как можно больше спать, подложив под голову кепку, – сон был единственным способом бегства от действительности. Из этой комнаты я помню поэта с круглым лицом, с волосами в скобку и с ногтями длиной буквально сантиметров восьми или десяти. Я так и не спросил, к какому поэтическому цеху он принадлежал – ведь в те времена были самые невероятные, – но помню, что из-за этих ногтей он с трудом подносил ко рту ложку с баландой. Потом привели нашего посла в Китае, прямо с дороги, очень растерянного, держащего в руке единственную вещь: пачку прекрасной голубоватой почтовой бумаги. Потом в коридоре, когда водили

на допрос, мелькнула фигура митрополита Агафангела в черной рясе и белом клобуке и очень многое мне напомнила: всего за шесть лет перед этим мы вместе с ним жили летом в Толгском монастыре под Ярославлем, и это ему, по рассказам, варили тогда монахи уху на курином бульоне. Это было последнее лето перед революцией. На великой реке была тишина, с одной стороны была березовая, а с другой – кедровая роща, и если подойти к краю березовой, то открывались луга и там на краю их, верст за пять, – белая церковка, от которой по субботам слабо доносился звон. Я тогда уже знал стихи И. Аксакова:

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.

Я тогда читал славянофилов, Григория Сковороду, преп. Серафима «О цели христианской жизни», и, слушая этот звон, мне думалось, что там, наверное, нет монахов, выходящих покурить во время литургии, что именно там, а не здесь хранима еще Богом Церковь – «ты, риза чистая Христа», как сказал Тютчев.

Но несмотря на растерянность, все в камере, в общем, чувствовали себя довольно спокойно: ведь период террора окончился и ВЧК была тогда уже переименована в ГПУ. Надо было только научиться наименее болезненно перенести полученную рану.

Кажется, на второй день один из сидевших сказал мне, что в соседней камере отец Владимир Богданов со святыми дарами и что можно упросить дежурного к нему пройти. Я так и сделал и в тот же вечер вошел в голубую от табачного дыма соседнюю камеру, чтобы причаститься.

Отец Владимир обрадовался моему приходу. Он был бодрый, улыбающийся, простой, совсем не похожий на известного «богдановского» вождя арбатского периода. Это был человек, точно сбросивший какое-то бремя и нашедший наконец свое истинное место. А рядом с ним на нарах изнемогал от духоты и своего громадного тела протопресвитер Большого Успенского собора Любимов, поп-гора, как его называли его ученицы по закону Божию в дореволюционной гимназии.

Дежурный, впустив меня, стоял у полуприкрытой двери и ждал, пока окончится таинство. И сидевшие в камере – я помню – не очень удивились моему приходу. Такие тогда еще были времена! Отец Владимир Криволецкий рассказывал мне о случае еще более знаменательном. Он был однажды арестован на улице, когда шел с дароносицей причащать больного. Введя в комендатуру, его поставили где-то в углу и велели

ждать. Рядом был высокий прилавок. Он поставил на него дароносицу и попросил четверть стакана воды, объяснив в немногих словах окружающим, что с ним святыня, которую он не может отдать, но должен выпить. Окружающие – в кожаных куртках – переглянулись, и кто-то из них молча принес ему до краев полный стакан воды. Это мне кажется совсем как «и побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, положив на трость, давал ему пить». Когда все было закончено, о. Владимир тщательно вытер маленькую чашу и отдал ее этим же людям.

Вскоре после того как я вернулся в свою камеру, меня перевели уже в настоящую внутреннюю, на второй или третий этаж, причем опять оставили, хотя был обыск, и филологические книги и Евангелие.

Прогулок во внутренней тогда не полагалось, книг не давали, сидение было довольно томительное, но зато тогда можно было днем лежать на своей койке сколько хочешь и, следовательно, уткнувшись носом в стенку, быть только с самим собой. Впрочем, окружение у меня оказалось небольшое и неумолимое. Молодой добродушный агроном с украинской фамилией, постоянно недоумевающий, что он сюда попал, выходил под вечер «посмотреть овсы», как он говорил, то есть походить между койками, где на полу лежала осыпавшаяся из тюфяка солома. Старый адвокат Жданов, привезенный прямо с процесса правых эсеров, где он изводил прокурора саркастическими репликами, рассказывал, пожевывая седеющие усы, всякие истории из дореволюционных политических процессов. Бывший директор конторы Государственного банка, в мешковатом сером костюме, по-стариковски аккуратно перекладывал с места на место свои многочисленные мешочки с передачей. Молодой простецкий парень с угреватым лицом, мелкий служащий на железной дороге и в то же время сын «графа Амори» – скандального продолжателя в литературе известных романов Вербицкой, – методично бил боксом по пальто на вешалке у двери. Об отце он не любил говорить. Был еще маленький испуганный еврей-инженер, из тех, кто когда-то в молодости хаживал в меньшевистские кружки, а теперь был бы рад забыть о них вполне и совершенно. Был еще кубанский белый офицер, остаток уже отошедшей тогда в прошлое гражданской войны, рассказывавший о том, как его водили на фиктивный расстрел. Был еще секретарь ЦК партии левых эсеров, молодой караим с черной бородой, вечно лежавший на койке с закинутыми за голову руками, вечно молчавший и не отводивший от потолка своих больших, печальных караимских глаз.

А по ночам, когда затихали все рассказы и закрывались все глаза,

когда в тишине лишь изредка доносился через стены, из недостижимого свободного мира, визг трамвая, наверно, при завороте с Театральной, а по ковру коридора не замирали мягкие шаги, можно было наблюдать, как вездесущие мыши плясали свои свадебные пляски на старом паркете. Ведь когда-то это было зданием страхового общества и гостиницы «Россия». Уткнувшись в стену, можно было без конца читать Евангелие. Мне был тогда только двадцать один год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа – это Божие возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог – если Он благоволит еще его спасти – посылает ему страдание явное (болезни, лишения, скорби), чтоб хоть этим путем он принес «плод жизни вечной». «Жена когда рождает, терпит скорбь» – это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда, и мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу. Помню, как особенно часто я читал там 6-ю главу от Марка: «И призва обанадесять и начат их посылать два два (по два)... и заповеда им да ничесоже возмут на путь токмо жезл един, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Через ткань этих слов все яснее чувствовалось, что при любви к Христу нельзя работать двум господам, что душа должна наконец сделать выбор. И таким простым тогда казался мне этот выбор! Душа так легко, так бездумно шла тогда по дорогам и проселкам галилейским, ища даже не учения, а только зримый образ Учителя и Бога. Как сказал Пастернак о Магдалине:

Омываю миром...

Я стопы пречистые Твои.

В этом я жил тогда. Это был кризис и выздоровление после долгой и тяжелой болезни молодости.

Через два месяца, в ясный сентябрьский день, меня перевезли в просторные и еще совсем патриархальные тогда Бутырки. В центре тюремных корпусов стояла еще тогда, хоть и закрытая, тюремная церковь, где когда-то служил отец, где меня крестили и куда меня в первый раз взяли к заутрене на Пасху: я помню, как мы идем с мамой ночью в церковь по длинным праздничным половикам, расстеленным в тюремных переходах. Церковь была небольшая, в левом притворе стояла икона «Взыскания погибших», а в первом помещались во время службы арестанты: там был полумрак, высокое распятие с большой лампадой у лика Спасителя и слышался иногда перезвон кандалов. Из коридора, по

которому нас теперь водят на прогулку, еще видна верхушка кирпичного дома, где прошло мое детство до семи лет. Там был кабинет отца с твердыми черными креслами у стола, с портретами на стене: отца Амвросия в камиллавке, Леонтьева, уже старого, в пенсне и шляпе, и моей матери в кокошнике и сарафане работы Ярошенко, маслом. Ярошенко был приятель папиного брата, революционера. Рядом с домом был сад с какими-то скучными клумбами, а за садом большой пустынный дровяной склад, заросший лопухами и крапивой и так замечательно хорошо пахнувший прелым дерном.

Тюрьма – это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке – начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно значительным: не научные его открытия и работы и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал, точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех. В Рождество 1945/46 года я лежал в невероятно тесном, темном и душном отделении столыпинского вагона на перегоне из Челябинска в Красноярск. Кругом уркачи, голодные и мрачные, как тигры. Они только что стащили у одного спящего на полу в каше тел новые хромовые сапоги. Духота и жажда. Есть уже и не хочется, а только пить, а пить нечего: воду дают дважды в день по несколько глотков. Шаря по пустому вещевому мешку, я нащупал какую-то маленькую корочку и, потирая ее между пальцами, вдруг ощутил, как легкое дуновение, восхитительный запах мандарина. Это было замечательно: мандариновый запах не только как-то облегчил жажду, но он установил в черном и душном аду какое-то обетованное место – кусочек родного дома с рождественскими елками, на которых, конечно, когда-то висели у нас мандарины. Я тер, и нюхал, и вдыхал детство, а потом, застеснявшись, говорю одному из уркачей, молодому и, можно сказать, культурному москвичу: «А ну-ка, земляк, понюхай». Земляк

нашел в темноте мою руку, взял корочку и, конечно, тоже восхитился, и мы поделили пополам и всё нюхали, к зависти других, но к зависти уже дружеской: корочка сделалась мостом между всеми нами, и дальше ехать было легче. Кстати, не могу не вспомнить еще один факт из тюремной жизни моего знакомого, ученого и верующего человека, как я уже сказал. Он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, и он чувствовал, что его силы, не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу, правда с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать и на этом условии, спасая свою голову и забывая о времени. Но проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему абсолютно нужна одна математическая формула, которую он забыл и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся его радость померкла, и несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз, машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» или стихи Демьяна Бедного, как вдруг увидел, что одна из книг – его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим! Бог спасает людей своих и в одиночной камере.

Передачи в Бутырках я получал тогда обильные, и не только еду, но и книги и длинные письма. Во внутренней ни книг, ни писем уже и тогда не полагалось, но продукты пропускались всякие и в любом виде. Рассказывали, что кто-то из сидевших тогда эсеров был обязательно раз в неделю пьян, к великому, конечно, удивлению и ужасу тюремного начальства: ведь все-таки это была не долговая тюрьма Маршалси из «Крошки Доррит», а самая настоящая внутренняя. Но наконец в глазок подглядели, как этот заключенный отколупливал восковую заклеечку на цельном яйце и выпивал спирт, налитый в пустую скорлупу. Раз к нам во внутреннюю привезли молодого эсера, боевика, из рабочих. Его привезли из Таганской тюрьмы плашмя на грузовике с приставленными к нему штыками. Оказывается, этот парень умудрился получить в передаче револьвер, кажется, в пироге, и во время прогулки сшиб вместе с кем-то охрану и прорвался на улицу. В те времена тюремная техника была еще явно отсталая. В сидение 1932–1933 годов я видел в Бутырках одного беглеца-еврея. Это был высокий, крепкий и умный человек, староста громадной и буйной камеры в двести человек уголовников, которыми он грозно и мудро управлял. Он сумел убежать от Соловков, то есть острова в

Белом море, добрался до Москвы и здесь скоро занял привычное ему положение. Впрочем, не менее удивительно, как он опять очутился в тюрьме: уже совсем забыв о своем прошлом, он шел по Тверской и остановился почистить ботинки. Пока ему чистили, он читал газету, держа ее перед лицом. Потом почему-то опустил ее, открыл лицо и тут же увидел глаза проходящего мимо одного из своих соловецких начальников.

На окнах Бутырской тюрьмы тогда щитов еще не было, и из двух окон нашей камеры можно было видеть кусочек далекой улицы с проезжавшими по ней извозчиками. Тогда по Москве еще всю ездили извозчики. За дальностью расстояния шума езды слышно не было, и лошади и люди, бесшумно катясь и исчезая, точно на экране немого кино, казались существами иного и нереального мира. Надо было оторвать от них жадный взор и обратиться к реальности. Вот два белоруса опять начали свою благодушную борьбу на поясах. Они были в лаптях, светлых рубахах и домотканых штанах какого-то сиреневого цвета и всегда неразлучны – молодые, высокие, белые, с бородами. Они брались за пояса и старались оторвать друг друга от земли, долго похаживая вокруг незримой оси. А вчера, когда вся камера шумно и весело пошла на прогулку, они остались одни с о. Владимиром Богдановым, чтобы исповедаться и причаститься. После камерного шума была такая тишина, когда на длинный засаленный тюремный стол о. Владимир поставил крошечную чашу. Я стоял рядом и читал благодарственные молитвы. Вот где источник осеннего солнца, светящего в окна, и вот где источник силы этих двух притихших богатырей. Прогулки были длинные, минут на двадцать, и, что их особенно оживляло, на них выпускали сразу по две камеры. Помню, из соседней камеры выходят два католических священника, совсем друг на друга не похожие: один пожилой, спокойный, с черной бородкой, всегда приветливо подходил к Павлу Вятскому, архиерею из нашей камеры, под благословение и целовал его руку, а другой, молодой, бритый, с недоверчивыми и спорящими глазами, только сухо издали кланялся: чувствовалось, что для него и здесь, в тюрьме, до небес достигали перегородки между Церквами.

В нашей камере, кроме длинного общего стола, был еще маленький столик в простенке между окнами, служивший престолом для совершения литургии. В камере был антиминс и сосуды, конечно жестяные, было одно холщовое священническое облачение, несколько маленьких икон, свечи и даже настоящее кадило и ладан. Забота о кадиле лежала на мне, и вот, пристроившись к коридорным дежурным по раздаче утренней или вечерней еды, я спускаюсь с ними и с кадилом в тюремную кухню, и кто-

нибудь из поваров с особым каждый раз удовольствием на лице вытаскивает мне из громадной печи самые отменные угли. В камере было при мне временами до пяти архиереев и по нескольку священников. Они служили по очереди, не каждый день, но довольно часто. Иногда на служение пускались гости и из других камер. Пели почти все – это, значит, человек двадцать, – и каменные своды старой тюрьмы далеко передавали божественные песни. Богослужение – это единство устремления людей к Богу. Если на богослужении нет совсем людей, устремленных к Богу, то богослужения и не будет, а будет только стертая медь обряда. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая... и нет мне в том никакой пользы». У нас в камере было два человека, явно устремленных к Богу: о. Валентин Свенцицкий и о. Василий Перибаскин. Первый еще недавно перед этим был в гуще интеллигенции, писал в газетах и журналах вместе с Мережковским и Гиппиус, а теперь носил черный подрясник и, хоть и женатый священник, монашеские четки. Это был человек и большой и трудный. В нем чувствовалась тогда мощь духовного борца, находящегося в смертельной схватке невидимой брани и еще не достигшего покоя. Мира души как трофея победы в нем еще не чувствовалось, но самая борьба его, настолько реальная, что как бы уже видимая, была сама по себе учительна и заразительна для других. Он был именно устремлен ко Христу: наверно, и он увидел его где-то, может быть, тоже на пути, и эта устремленность устремляла других.

О. Василий Перибаскин был как бы простейший русский, да еще вятский поп, конечно, обремененный семьей, конечно, рыжеватый, высокий, с красноватым носом, в сером старом подряснике, из-под которого, попозже к зиме, выглядывали несуразно большие валенки. О. Валентин все больше молчал, перебирая четки, а о. Василий часто говорил с людьми. Между собой они были в явной дружбе. Говорил о. Василий словами простыми, иногда даже словами совсем не литературными, грубыми, но всегда говорил то, что было надо сказать собеседнику, точно вырубая заросли чужой души. Помню разговор его с одним ученым протоиереем, державшимся от всех нас в стороне. Это был еще молодой юрист, профессор канонического права в одном из университетов. Принявши почему-то священство (в начале революции), он к этому времени уже снял рясу и работал как юрист в каком-то учреждении. Помню, что о. Василий долго ему что-то рассказывал вполголоса, сидя на его койке, про какого-то священника в деревне, про крестный ход летом на полях, про какое-то торжество молившихся под голубым небом людей. И я

ясно помню лицо этого юриста в слезах. О. Василий имел дар помощи людям и он делал ту помощь в радости и в непрестанной молитве. Как говорил преп. Макарий Великий, «молитва основана на любви, а любовь на радости». Это и есть христианство. Но где теперь эти люди?

Вот вечером служится всенощная. Все стоят и участвуют, кроме двух-трех отрицателей, играющих в стороне в шахматы. Кстати, один из отрицателей был художник, замечательно искусно делавший из протертого через материю хлеба не только шахматы, но и нагрудные кресты для духовенства и четки. Камера освещена пыльной лампочкой, кругом постели, обувь, чайники, параша, воздух тяжелой ночлежки – все здесь не похоже на привычное в долгих веках благолепие храма, где и стены помогают молиться. Здесь надо ничего не видеть, кроме маленького столика в простенке с горящей на нем свечой. А мне еще надо видеть о. Василия. Вот поется канон, и его красивый мягкий тенор запекает седьмую песнь: «Божия снисхождения огонь устыдился в Вавилоне иногда, сего ради отроцы в печи радованною ногою, яко во цветнице ликующе пояху: благословен еси Боже отец наших». Я вижу его поющее лицо, счастливые спокойные глаза, и кажется мне, что это он стоит «во цветнице ликующе пояху», в печи Вавилонской, которой сделалась для него эта темная камера со стенами, осклизлыми от столетия человеческого житья. О, мой дорогой, тихий вятский авва! Ты и меня тогда учил идти «радованною ногою» по узкому Христову пути.

Подъем утром был в семь, а если тихонько встать на час раньше, то узнаешь самое хорошее камерное время. Тишина, простор, покой, ушла пелена табачного дыма, не слышно перебранок, в коридоре дремлют на табуретках утомленные сторожа, в своей дремоте ставшие совершенно такими же простыми и понятными, как вот эти спящие вокруг меня фигуры архиереев, художников, жандармов, инженеров и крестьян. «Земля людей». «Помилуй Боже ночные души».

Я беру присланный в передаче отцовский молитвослов и читаю в полунощнице 17-ю кафизму: «Коль сладка гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим... Твоя есмь аз, спаси мя... Раб твой есмь аз, вразуми мя... Призри на мя и помилуй мя. по суду любящих имя Твое... Благо мне яко смирил мя еси, яко да научуся оправданиям твоим... Жива будет душа моя и восхвалит тя и судьбы твои помогут мне...».

Вот я пишу сейчас эти слова, чувствую, что пишу слишком много, и не могу остановиться. За прошедшие сорок лет столько раз я уходил от этих слов, и сколько раз они снова открывались мне как звезды в ночи души, напоминая, умоляя и зовя. И бывало, видя их снова, я иногда

испытывал искреннее недоумение, уже погружаясь в полное забвение бутырской полунощницы, и точно говорил им: *quo vadis, Domine?* И тут же вспоминал все по сказанному: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и исшед вон плакал горько».

«Благо мне яко смирил мя еси».

После подъема начиналось самое неинтересное время: поверка, мелкие или крупные ссоры из-за хлебных паек, из-за книг тюремной библиотеки, томительное ожидание – даже не обеда и прогулки, а вообще какого-то движения «реки времен». Впрочем, и сама эта томительность постепенно делалась привычной. И здесь, в тюрьме, обыденность пробивала какую-то свою колею, и постепенно койка и камера делались для каждого точно домом, и люди окутывались особым тюремным покрывалом, какой-то смесью равнодушия и отчаяния. Когда я в период этой первой ссылки был на этапе в вологодской тюрьме, мне однажды показали камеру смертника, какого-то крупного растратчика. Исполнение приговора было отложено на несколько дней в связи с его просьбой о помиловании. Я подошел к двери и заглянул в глазок, вспоминая шильонского узника. Я увидел прежде всего небольшую круглую чугунную печку, на которой стоял голубой кофейник. На кровати, перед которой стояли ночные туфли, лежал приговоренный и с явным интересом читал затрепанную книжку, по шрифту, формату, конечно, роман. Или человек реагирует только на прямую физическую боль? Кстати, эта самая Вологда связана у меня с воспоминаниями о физической боли. Наш этап пришел туда в начале декабря, утром. Во время выгрузки из вагона на запасных путях один заключенный юркнул под вагон и попытался исчезнуть. Его очень скоро нашли в пустом товарном вагоне. Это был человек среднего роста, бедно одетый и простоватый, по профессии цирковой клоун. Пока шли поиски, мы стояли у путей, а тут нас опять выстроили и повели по молодому снежку в тюрьму на окраине города. Сзади, как обычно, понуро шли угрюмые овчарки, незаменимые в таких делах. В тюремном дворе нас построили, как на парад, в две шеренги – в передней шеренге прямо передо мной стоял совсем неотмирный в черной дорожной скуфейке архиепископ Астраханский Фаддей, – клоуна вывели на «плац», конвойные вытащили шомпола, и перед нами в назидание началась экзекуция. Она продолжалась недолго: клоун затих и упал. Впрочем, недели через две я опять его увидел, вышедшего из больницы, хоть и бледного, как мертвец.

Не могу не вспомнить и жестокость другого рода. От шомполов есть больница, а где спасешься от жестоких слов? Среди других был там в моей

первой камере один архиерей, молодой, твердый, иконописный, высоко ставивший монашеское звание. «На последнем курсе академии я с одним товарищем, – говорил он мне, – как-то даже сочинение написал на тему, что брак – это не христианское учреждение. Но, – добавлял он, как бы снисходительно спохватываясь, – это, конечно, не так, это не так». Камерным бездействием он, видимо, тяготился и часто коротал время за игрой в бирюльки с художником. Бирюльки – это пучок отшлифованных стеклом палочек, которые надо сжать в кулаке и, внезапно открыв, доставать из кучи каждую палочку отдельно, не задевая других. Был послеобеденный час, все лежали и от нечего делать слушали разговор этого архиерея с одним лютеранином – высоким добросовестным обрусевшим немцем. Я помню спокойный голос архиерея: «Поскольку вы не в Церкви, вы и не христианин, вы для меня то же, что язычник». И вдруг оказалось, что для немца это был пинок прямо в лицо. Он приподнялся на своей койке, лицо его стало красным, и он с таким возмущением и огорчением буквально закричал: «Что вы говорите, что вы говорите! Как можно, как можно!..» Так мне довелось тогда узнать, что не все то православная Церковь, что именуется ею, что всякий нераскаянный грех, особенно прямой грех против любви, отводит меня от нее. «Если я имею всю (православную) веру, а не имею любви, то я ничто, и если отдам тело мое на сожжение (или на монашеский подвиг), а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Никакой пользы», «ничто» – никакой Церкви, так как Церкви не может быть в небытии. Даже самой благообразной и правоверной не-любви нет места в святом бытии. Церкви.

Надо отвергать лютеранство, а не лютеран, папство, а не католиков. Существует отолько одна-единственная Церковь, православная Церковь, но ее незримые связи с христианами Запада, в частности с лютеранами, нам непостижимы, а они действительно существуют, и мы знаем, что на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в Церкви, чем многие из нас.

Мандарины играют в моих тюремных воспоминаниях определенную роль, и я сейчас опять о них вспомнил. Это было раннее и совсем еще темное утро 25 декабря 1946 года. Этапная камера Бутырок задыхалась от людей, ожидающих отправки. Я уже знал, что меня сегодня-завтра отправят, и мне не спалось. Да и какое спанье, если для того, чтобы повернуться на другой бок, надо будить соседа и поворачиваться вместе, а соседи бывают разные. Впрочем, моим соседом был очень добрый юноша Илюша. И вот вижу: на противоположном конце камеры у окна стоит во весь рост, точно на трибуне, высокая фигура молодого лютеранина с

молитвенно сложенными руками. Слезать на пол нельзя: везде спящие тела. Кругом тишина и храм. Он стоит долго неподвижно, со сложенными руками, глядя в замороженное окно. Там, за окном, где-то в темноте пространства, – 25 декабря, Рождество, там его лютеранское детство и где-то там детство Иисуса Христа, «в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода». Что до того, что прошли века, что все больше людей Его забывают. Этот человек на нарах не только помнит Его, он видит Его. Как сказал Пастернак:

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.

Потом открылась дверь, и начали вызывать на этап. Я быстро собрался и, уходя, показал Илюше глазами на одинокую фигуру на нарах. «Да ведь сегодня у них Рождество, – понял он и радостно добавил: – Я сейчас отнесу ему мандарин».

Больше я никогда не видел ни лютеранина, ни Илюшу. И вот теперь, через пятнадцать лет после этого последнего этапа, оглядываясь на многолетний поток людей, с которыми я тогда встречался и шел, я отчетливо знаю, чему в итоге они, эти люди и годы, меня терпеливо учили. Тому, что смысл жизни страшно прост: стараться всегда и везде сохранять тепло сердца, зная, что оно будет нужно кому-то еще, что мы всегда нужны кому-то еще.

На этом следовало бы перевернуть эту страницу памяти 1946 года, но из каких-то ее темных пустынь вдруг еще выходят образы, обрывки разговоров, живое теплое сердце тех часов и минут. У Блаженного Августина есть замечательная фраза: «Где же ты теперь, мое детство? Ибо не может быть, чтобы тебя нигде не было». С этими же словами мы, может быть, обращаемся ко всему дорогому, ко всему хорошему, что было когда-нибудь в нашей жизни, обращаемся с такой горечью, потому что больше его не видим, и с такой надеждой, что, может быть, когда-нибудь увидим опять. Как поется ночью Великой субботы: «Воскреснут мертвии и восстанут сущие во гробах, и все земнороднии возрадуются». Но то, что сейчас возникло в памяти, не поддается передаче в словах, так как, собственно, не имеет никакого сюжета. Это только напев одной песни. Известно, что старая русская песня иногда до молитвенной печали может достичь, но я не знал, что и старый русский романс также может достичь молитвенной печали. Теснота в этой камере, где лютеранин стоял на трибуне, была такая, что когда нас приводили на десять минут и запирали в совсем уж не соответствующую по размерам уборную, то в настоящий обморок от духоты падали даже бравые колчаковские полковники,

выловленные после окончания войны где-то в Китае. Весь день мы сидели на нарах, а если встанешь, чтобы размяться, то вступаешь в густой сплошной поток людей, совершающих вращение по камере. И вот милый друг этих дней, которого я никогда раньше не знал и только что встретил и через несколько дней потерял навсегда, говорит мне: «Я знаю, чем вас порадовать! – Глаза его заблестели, и он поднялся на нарах. – Василий Петрович! Капеллу!» – закричал он. Через несколько минут, по закономерности вращения людского потока, к нам на нары высадились два незнакомых мне человека. Наружность их ничего мне не говорила: так, какие-то в серых толстовках. Они запели тенорами:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика...

У Лермонтова есть сон во сне, а здесь – песня в песне. Десятки раз уже слышанные слова опять повели за собой сердце.

И припомнил я ночи другие
И другие поля и леса...

Это была в те минуты не песня, а исповедь о самом драгоценном, что пряталось на дне. Сколько же радостного для нас в этих темных далеких полях, в полях, таких дорогих сердцу. Если их нет в современности, то они есть у Бога. «Ибо не может быть, чтобы их нигде не было».

Друг мой, созвавший капеллу, перед этим все спрашивал меня: «Вот я приеду в лагерь. Могу ли я покончить с собой?» Он допытывался, конечно, не о технике этого дела, а хотел узнать: если он это сделает, позволит ли ему Господь подходить вот такой русской ночью к чуть задремавшему перед утреней Китежу? Он спрашивал и все глядел на меня тревожными и доверчивыми глазами. У него было очень тяжелое следствие, а был он человек слабый, был он русский интеллигент. Я то отмалчивался, то отвечал ему формально. И он спросил: «Вы отвечаете формально?» И я сказал: «Да».

Видел я еще в этом же сорок шестом году молодого румынского журналиста. Он был как все: читал Ромена Роллана из тюремной библиотеки и руководил хорovým кружком. Но когда приходило воскресенье, он до часу дня не участвовал ни в чем камерном и ничего не ел. Он ходил и про себя молился. «В эти часы, – объяснил он мне, – совершается литургия». Может ли кто-нибудь представить себе этот подвиг поста в условиях тюрьмы, когда из-за делимых паек хлеба как раз в эти часы в камерах бушует зависть и злоба? Когда наконец он сядил

спокойно за свой завтрак, мы обычно уж старались подложить ему к хлебной пайке какой-нибудь кусочек сахара или дольку чеснока.

Архиереи, которых я встречал в тюрьмах, были, конечно, разные. Были такие, как Кирилл Казанский, – светлые и верные Христовы рабы. Были добрые, искренние и простые. Были усталые старички, которые, думаю, были бы не прочь сыграть в преферанс. Были такие, которые не знали, что такое Оптиная пустынь, про Флоренского не слышали и втайне были уверены, что скоро опять будут ездить в каретах и носить ордена. Но я тогда еще не встречал среди них нового, современного нам архиерея, старающегося уверить нас, что Христос приходил на землю не для спасения человека от греха и смерти вечной, а для улаживания социальных конфликтов. Такие тогда были только у живоцерковников, думающих, что лукавым камуфлированием или маскировкой христианства под современность они сумеют кого-то обмануть. Церковь не может быть ни социалистической, ни капиталистической, ни феодальной. Она может быть только Церковью Божией, и поскольку она перестает быть только Божией, она перестает быть Церковью или из Церкви Христовой преобразуется в церковь придворную, при каком бы строе или дворе она ни жила. Это и есть обмирщение Церкви – капиталистическое, социалистическое или феодальное, *сuius regio eius religio* чье правление, того и религия (лат.). Обмирщение может быть разных глубин и всевозможных степеней, но суть его всегда та же: замена веры – неверием, чистоты – грехом.

Как-то я встретил в тюрьме одного московского портного, толстого человека лет шестидесяти. Он подолгу делал надоевшие нам физкультурные зарядки в трусиках и вообще старался бодриться, считая, что его, возможно, скоро освободят. «Я на вашем месте, – сказал ему кто-то из сидевших, – как только бы вышел, пошел бы в церковь и отслужил молебен». «Нет уж, с меня хватит попов, я им не верю», – задумчиво ответил портной. Оказывается, он был в близких отношениях с одним известным живоцерковным священником, прислуживал ему в алтаре и с ним же вместе пьянствовал, причем после особо сильных выпивок этот батюшка русской церковной реформации опохмелялся утром в алтаре во время литургии. Конечно, это, может быть, грубый пример, но так или иначе именно в грехе или в обмирщении Церкви лежит суть живоцерковничества, а не в тех реформах, которыми оно окружило себя как ореолом. Если Церкви нужно изменить что-то в ее обрядовых обычаях, которые она никогда не воспринимала как неизменяемые, то она это делает просто и без всякого ореола. Митрополит Кирилл, сидя во

внутренней, спокойно, как он мне сам с улыбкой говорил, ел и постом баланду из кроликов, будучи монахом. В церкви бутырской камеры не было ни иконостаса, ни уставных книг, престол мог стоять на восток, а мог стоять и на запад, один священник причащался по-священнически в пиджаке, архиереи служили даже без омофора и т. д. Московский протоиерей отец Иоанн Крылов, сидя в тюрьме, подготовил к крещению одного татарина. Откладывать таинство он не считал возможным. И вот когда они были в очередной бане, он крестил его под душем, будучи сам, конечно, так же наг, как и крещаемый. И повторилось Писание: «И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его» (Деян. 8).

Образ митрополита Кирилла Казанского, конечно, неизгладим из памяти. Высокий, очень красивый, еще сильный, несмотря на большие годы, он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам России. Помню его входящего, точно в богатую приемную залу архиерейского дома, в нашу маленькую и невероятно клопиную камеру вятской тюрьмы. На нем была не громоздкая и нелепая шуба, а теплый меховой подрясник, твердо опоясанный ремешком, как древний кафтан, высокая меховая шапка и шарф, закрученный поверху, с концами за пазухой, как это делали когда-то московские извозчики. Это был Илья Муромец, принявший под старость священство. В той камере нас застало Рождество 1922 года, и была отслужена всенощная, и митрополит громогласно воспевал праздничный канон на пару с одним эсером, неожиданно оказавшимся хорошим церковным певцом. Мы стояли перед голой стеной, и облачения уже, конечно, не было – ведь мы были на этапе, – но ирмосы канона звучали убедительно, как всегда.

Этапный период – самое тяжелое время для заключенного, но в присутствии старого митрополита унывать было совершенно невозможно. На худой конец, он и в шахматы заставит играть, чтобы не падать духом. Помню, он играет с певчим эсером, и тот, переставляя фигуру, с некоторым ехидством ему говорит: «Известно, что восточные патриархи курят. А вы, владыко, курите?» «Мало ли что еще делают восточные патриархи», – с горечью отвечает митрополит. В нем совсем не было иерархической елейности. Помню его, принимающего меня на исповеди у себя в комнате, в зырянской ссылке. Епитрахиль на серебристой волне волос, опускающихся на плечи, на руке синие нитяные, затертые от молитвы четки, низкий голос говорит: «Мы, священники, видим в этом таинстве свое, особое назначение». Потом его рука прижимает к груди мою голову, и чувствуешь холодок и запах епитрахили и все тепло этого простейшего человека. Он все собирался венчать меня с моей невестой и

совершить это у себя в комнате, но неожиданно до назначенного срока его перевели в Усть-Кулом, где с ним впоследствии жил молодой ссыльный епископ Николай Петергофский, будущий знаменитый Николай Крутицкий. «Наша епархия теперь вот! – сказал как-то митрополит Кирилл и широким жестом показал на сидевших в комнате двух-трех близких ему людей. – Теперь мы совсем по-иному должны сознавать свои задачи. Довольно мы ездили в каретах и ничего не знали. – И тут же, улыбаясь, рассказывал: – Когда меня назначили в Петербург викарием к Антонию, один человек говорит мне: «Вас, владыко, сюда назначили по росту, как в гвардию»".

Помню, как в Прощеное воскресенье он, старый, грузный, опускается на колени, чтобы поклониться до земли своей келейнице Евдокии, несшей всю тяготу его скитальческой жизни. Где теперь эти люди? «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть!» Но все страшнее видеть, как умирает церковная эпоха – «Сардийская церковь», – как все пустынное становится жизнь в ней, как все труднее делаются поиски десяти праведников.

С владыкой Кириллом мне пришлось проделать и целое этапное путешествие на лошадях в январе 1923 года. В Вятке мы сначала сидели, как я уже сказал, в маленькой клопиной камере в очень небольшом составе: кроме владыки Кирилла и меня, там было еще четыре человека: архиепископ Фаддей, архимандрит Неофит (секретарь патриарха Тихона), певчий эсер (о котором я уже тоже говорил) и один врангелевский офицер с совершенно нелепой, но слишком длинной для рассказа историей и с целым чемоданом великолепных блестящих сапожных инструментов, которые он вез с собой прямо из Константинополя, где он уже успел сделаться сапожником. Сидеть там было хорошо, но вскоре нас перевели в тюрьму при управлении ГПУ. Это был громадный сарай позади особняка на одной из центральных улиц, и там мы попали в большую компанию эсеров и «исламов». Совершать службу стало уже как-то затруднительно: кругом были, так сказать, не Мити Карамазовы и даже не смердяковы, а просвещенные потомки Чернышевского, вежливо, но чуть презрительно поглядывавшие на попов и совершенно не понимающие, почему они, собственно, оказались вместе под тюремной крышей.

Поэтому сидение наше в этом вятском сарае было неудобное, и мы были рады, когда нас вызвали на этап, построили и повели. Скоро мы миновали центр и пошли пустырями. Был хороший зимний вечер с добрым русским снежком, тихо опускавшимся на землю. И вдруг – я сразу даже не понял, откуда пошел звук, – все эсеры тихо-тихо запели: «Динь-бом, динь-

бом. Слышен звук печальный. Динь-бом, динь-бом. Путь сибирский дальний...» Сдержанный звук голосов сливался со снегом и вечером. О, русская земля!

На вокзале нас посадили в один вагон, но скоро мы и расстались: их повезли, кажется, в Котлас. а нас высадили задолго до него на станции Мураши, чтобы везти триста километров на лошадях в Усть-Сысольск: железной дороги тогда к нему еще не было.

И вот мы стоим на маленькой станции, поезд ушел, уехали конвойные, с нами только один, да еще добродушный провожатый, кругом тишина, снег, солнце, дымки из труб, лес, свобода, свобода... Можно пойти вон к тем бабам с березовыми лукошками и заговорить с ними, можно пройти внутрь станции и долго читать на стене совершенно не нужное мне расписание, можно весело окликнуть деловито пробегающую большую собаку и засмеяться ее удивленному взгляду. И все это от великого избытка радости об обретенной, хотя и ссыльной свободе. Хочется тронуть рукой и стены домов, и длинную коновязь, у которой лошади мирно похрустывают сеном. Подошла Софья Ивановна, уже нас здесь поджидавшая, и передала от невесты из Москвы маленький образок Божией Матери «Отрады и Утешений». И мы чувствовали себя почти как путешественники XIX века, едущие по каким-то личным и совсем благополучным делам.

Путешествие длилось неделю: ехали не спеша, так как начались большие морозы и мы, замерзая в санях, уговаривали своего проводника делать почаще привалы. Мы были, наверное, одной из первых партий массовой ссылки и уж несомненно первой церковной, поэтому на всех остановках и ночлегах к нам в избу сходилась удивленный народ. Зырянский край был тогда еще совсем глухой, везде по избам пряли пряжи и горела березовая лучина в поставце на железном подносе. Народ удивлялся, конечно, не нам, мирским и обычным, а невиданным фигурам архиереев, да еще почему-то ссылаемых к ним. Ко мне как-то подошел один мужичок и, хитро подмигнув, спросил: «За золото?» А к владыке Кириллу подошел другой мужичок и, молча встав перед колени, вытащил из-за пазухи длинную бумагу. Оказалось, что он истец по многолетнему бракоразводному процессу, затерянному в каких-то давно исчезнувших дореволюционных консисториях. Небывалость явления ссыльных архиереев приводила тогда в некоторое недоумение и растерянность даже начальство. Когда мы наконец прибыли в Уст-Сысольск, нам это начальство предоставило для первого ночлега одну большую комнату. Вскоре появился самовар, и мы в полном составе и в полном благодушии

пили чай, когда открылась дверь и вошли два высоких человека в военных шинелях. Они подошли к столу, и один из них, глядя на сидевшего в центре владыку Кирилла, как-то приосанился и четко сказал: «Позвольте представиться: я начальник местного ГПУ (он назвал фамилию, но я забыл ее), а это мой заместитель товарищ Распутин». (Эта фамилия, конечно, запомнилась.) Тогда с добродушной улыбкой в глазах поднялся во весь свой рост владыка Кирилл и, на любезность отвечая любезностью, сказал: «Позвольте и нам представиться...» – и он назвал себя и каждого из нас.

Но надо кончать это «собрание пестрых глав». Я совсем не уверен, будут ли они нужны кому-нибудь, кроме меня. Нужно ли кому личное поминание? А для меня это и есть чтение поминания в церкви у жертвенника: «О рабе Божиим Игоре, о рабе Божиим Фердинанде (был такой на этапе), о рабе Божиим...» Вот и забыл имя, а фамилия у него была смешная, украинская – Сметанка. Был он простой солдат из категории так называемых шпионов, то есть людей, имевших несчастье попасть в немецкий плен.

Сколько людей прошло за эти три сидения, как вплотную можно было подойти к ним, когда совместные страдания срывали все занавеси, скрывающие их в эпоху личного и социального ожирения.

Но сидение учило не только этому, а и русской истории. Первый раз я сидел в 1922 году, а десять лет спустя, в 1933 году, уже открывалось новое лицо России.

В это сидение священников в камерах я встречал мало, но общий религиозный уровень сидевших был уже далеко не тот, что в 1922 году. Именно там я оказался тогда впервые на антирелигиозной лекции. Об этом стоит рассказать именно как о новой эпохе в истории России. В камере, рассчитанной человек на 35, было более 200. Это была темная толпа запертых людей, к которой без особой нужды не заходили дежурные, а когда все же заходили, то делали это весьма быстро и зорко. Там сидели украинцы, татары, цыгане, венгерские троцкисты, евреи за золото, студенты, матросы, шпионы, мужики и просто уголовники. Матросы весь день с поразительным упорством играли в карты, в козла и в очко, а на ночь залезали спать под нары, точно в трюм корабля. Украинцы со вкусом рассказывали о том, что они когда-то ели и пили на воле: «И вот она, как я утром встану, передо мной яичницу из четырех яиц с колбасой – раз! И стакан красного вина». Это говорит один из них, с черной редкой бородой на уже опухающем от недоедания лице. Татары держались кучкой, бранились по-русски, разговаривали по-татарски, но тоже почему-то сердито, и зло поглядывали вокруг. Вот один из евреев рассказывает

кружку замороженных слушателей о различных способах прятанья в квартире золотых и серебряных вещей и о различных способах отыскивания их, применяемых следователями. Где-то у зимнего окна вижу высокую фигуру молодого инженера-химика, красивого и удивительно кроткого, все переживавшего совсем не то, что он здесь, а то, что накануне ареста он узнал об измене любимой жены. Вот подходит ко мне молодой известный шахматист и, узнав, что я жил в зырянском крае, и ожидая, что и его туда пошлют, расспрашивает меня: какие там женщины? Троцкисты, цыгане и шпионы ни о чем не расспрашивали и держались особняком. В общем, все держались особняком за исключением, пожалуй, того времени, когда совершалось избиение провинившегося в воровстве хлебной пайки. В эти минуты вспыхивала та объединяющая всех черная соборность, о которой говорил С.Н. Булгаков, и большинство камеры гудело, орало, визжало, требуя вящего наказания преступнику, обычно какому-нибудь неопытному парнишке.

Там были свои портные и сапожники, производившие разнообразные починки, искусные мастера мундштуков, художники и татуировщики, прекрасные брадобрее, орудующие осколком стекла вместо бритвы, профессиональные сказочники с непрекращающимся потоком уголовно-былинного эпоса. Для разнообразия были там и два эпилептика, наводивших своими припадками страх на всех, даже на рыжего матроса, у которого на груди была громадная татуировка двуглавого орла.

Особенных драк не было (случаи с ворами – это не драки), раз только, помню, кто-то напал на цыган, и их старшина с длинной седеющей бородой, рассказывавший мне об их цыганском короле в Сибири и о лечении чахотки собачьим старым салом, вдруг вытащил из-под изголовья большой кусок железа, вроде лома. Это удивительно, как жизнь протаскивает постепенно разные предметы в места, казалось бы, совсем отгороженные. Карты, например, всегда были в два цвета: черный и красный. Для черной краски где-то добывалась сажа, но что и где добывалось для красной, я так и не выяснил. Почти каждый раз, когда водили в баню, в опустевшей Камере начальством производился шмон, то есть обыск, карты, конечно, забирались, и вот не пройдет и недели, как новая колода опять в руках играющих. Весь день эта толпа, даже и затихая, бурлит, томится, не находит себе места. Скрыться негде, разве только лезть в черноту под нары, и чувствуешь себя точно в грохоте, в котором сортируют зерно. Наиболее тяжело было утром и днем. К вечеру как-то все затихало, все уставало, люди точно тускнели вместе с зимними окнами. Это был январь. И вот новый, русский староста, сменивший умного еврея,

решил проявить культурную инициативу: ввел по вечерам после поверки камерные собрания с увеселительными и общеобразовательными целями. На первом же таком вечере он попал сразу в обе цели, вставши на нары перед затихшей толпой и рассказавши серию похабных анекдотов. На второй вечер в программе была антирелигиозная лекция. Докладчиком был искусствовед, научный сотрудник одного подмосковного музея, а почти все 200 человек занимали места слушателей и слушали в тишине, обнаруживая свою удивительную несопротивляемость. После искусствоведа вышел матрос (не рыжий и большой с орлом, а маленький и молодой, которого недавно били) и с феноменальной ловкостью начал отплясывать яблочко.

Эта камера была почти безотрадна. Видел я там одного озлобленного монашка, который, когда отдавал что-нибудь из своей передачи неимущим, тоже залезал на нары и произносил оттуда краткую проповедь над кусочком сахара или хлеба, вроде мистера Чэдбенда из «Холодного дома»: «Совершим это в духе любви».

Тепло в сердце осталось только от бородатого тамбовского мужичка, который все сидел у себя на нарах, ни в чем не участвуя, и который учил меня, как лечить зубы. «Ты, Сергей, – говорил он медленно, зашивая старую зимнюю шапку, – если хочешь, чтобы у тебя зубы не болели, никогда их порошком не чисти, а только утром холодной водой полоскай да молись мученику Вонифатию».

Молиться в такой камере сообща, то есть церковно, конечно, было невозможно. Если кто молился, то только про себя, ходя по камере или лежа где-нибудь на каменном полу. Вспоминались чьи-то слова: «Будет время, когда у нас ничего не останется, кроме имени Божия». Только этот зубной врач мой перед сном широко крестился и скрещивал все вокруг себя и под собою, делая это, наверное, так же уверенно, как у себя в деревне на печке. Но такой был один, и я думаю, что месяцы этих темных испытаний давались тогда для того, чтобы оценить свет Церкви, чтобы из глубины соборности черной затосковать о соборности церковной, в которой, собственно, тоже толпа людей, но людей, стоящих перед Богом с горящими свечами в руках.

Но вот однажды ночью мягко щелкнула дверь, и меня вызвали с вещами. Началась моя вторая ссылка, об одном эпизоде которой я тоже хочу рассказать. Меня поселили у станции Явеньга, между Вологдой и Архангельском. Прошла холодная Пасха, а 30 мая вдруг пошел снег, безжалостно заметая землю. В этот день меня вместе с большой толпой таких же, как я, собрали на станции, посадили в теплушки и повезли

отдельным составом через Коношу на Вельскую ветку. Про эту железнодорожную ветку там тогда говорили, что она построена на костях:

Потом бараки черным зевом
Вобрали мутную толпу
Людей, без ропота и гнева
Принявших смертную тропу.

Бараки стояли в большом сосновом лесу, далеко от деревни и всякого питания. А с организацией питания дело обстояло так. Утром нас, уже не евших сутки из-за внезапности переброски из Явеньги, выгнали на работу по заготовке леса, дали норму и предупредили, что питание и хлебный паек будут даваться только тем, кто эту норму полностью выполнит. Я попробовал один день и, выполнив, кажется, не больше половины, понял, что дело дрянь. Работать и не получать питания – долго не протянешь. В таком случае лучше уж, лежа на нарах, сохранять силы в ожидании чуда. Может быть, собирать даже первые весенние грибы или какие-нибудь травы.

Всех отказавшихся от работы переводили в смертный барак. Он так откровенно и назывался, и когда я в него перешел, он был уже наполовину заполнен. Снег скоро сошел, но никаких грибов, конечно, не было. Были крысы, которых некоторые доходяги пытались бить на еду. Я сам вскоре был уже вне опасности: приехали родные и привезли все что нужно. Я был там только наблюдателем смерти, а также и преступления рядом с ней. Помню, перед рассветом в тишине барака чей-то негодующий тревожный окрик: «Эй! Брось!» Это один всю ночь умирает и никак не умрет, и вот его соседу не терпится забрать его жалкое вещевое наследство, и он, озираясь, накидывает ему на лицо какую-то тряпку. Впрочем, это, может быть, уже не преступление в обычном смысле слова, а начало безумия. Полную картину его я увидел в соседнем бараке. Там, мне сказали, доходит один священник. Я протянул ему, сидевшему на нарах, горсточку мелких кусочков сахара. Он взял, не глядя на меня, и вдруг взор его просиял, он засмеялся и стал подбрасывать в воздух кусочки, ловить их и опять подбрасывать. Он – весь, маленький тамбовский попик, – веселился в своем безумном детстве. Я ушел. Легче смотреть, когда смерть идет через голодный понос, оставляя в покое разум.

Зарывали, конечно, сами же. Это был не благоустроенно организованный и плановый лагерь, а как бы стихийно возникший, некая, так сказать, случайность классовой борьбы. Сначала над каждым зарытым телом делали могилки, но потом это было запрещено, чтобы лес не превратился в очевидное кладбище.

Помню большую фигуру иеромонаха Спиридона, седобородого, ходившего с молитвословом в руках между черными соснами. Он, не смея стоять у могил, все же совершал про себя отпевание усопших. Этот отец Спиридон так хорошо рассказывал в бараке про свой Валаам и еще, я слышал, учил заканчивать Иисусову молитву так: «Богородицею помилуй нас!» И ведь это действительно так и в этом лесу, и во всем этом страшном мире: «Богородицею помилуй нас!» Только так.

Еще один священник воронежский – не знаю его имени, – горбоносый, почти седой, с красивыми черными глазами, умирал у нас в бараке. Он дошел за два дня, совершенно молча, никого не тревожа, ни с кем почти не разговаривая. Все глядел на потолок. Почему, спрашиваю я себя теперь, я к нему не подошел? Помню, как его выносили:

И не дождавшийся до хлеба,
И смерть не смевший превозмочь,
Качался носом острым в небо,
С глазами, брошенными в ночь.

Хотя в этих четырех строчках две последние – краденые (у Анненского и у Есенина), но именно так я их тогда себе выговорил.

Пришел день в начале июля, когда вдруг окончилось это испытание. Меня и двоих моих товарищей (по хлопотам А.И. Толстой) неожиданно по телеграфу вызвали в Вологду: мы подумали, что нас вырвали отсюда к жизни. Получив какие-то документы (под удивленные и внимательные взоры людей в лагерной конторе), мы отправились в путь. Километров восемь пешком по лесу, потом маленькие вагончики все еще строящейся ветки с качающимися рельсами на не засыпанных шпалах. И вдруг из всей этой полулагерной обстановки мы неожиданно для себя въехали в обычный свободный цивилизованный мир.

Я с товарищем стоял у открытого окна. На заборе железнодорожной станции висела афиша кино и футбола, а перед ней стоял парень в спортивной майке. Рядом бойко шла какая-то торговля. Здесь шла жизнь, ничего не желавшая знать о кладбище в сосновом лесу. Мы с товарищем переглянулись от одинакового чувства. Что-то мучительное было в этом столкновении того почти потустороннего мира, из которого мы вышли, с афишей кино. И мы подумали, что потусторонний мир был для нас более реален и чем-то невероятно дорог.

Какой же общий итог этой тюремной главы?

Есть вера-обычай и есть вера-ощущение. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас этот обычай – бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни к чему духовно трудному не

обязывает. Вера-ощущение требует подвига жизни: труда любви и смирения. И только она дает ощущение Церкви, которого в нас так ужасно мало, о котором мы часто даже и не слышали. «Какое там еще ощущение Церкви!» Может быть, это даже какое-то новое раскольниковство?

Вот только к этому ощущению реальности святой Церкви, к ощущению ее святого пребывания в истории и вели многих из нас годы тюремной и ссыльной жизни.

Помню одно ноябрьское утро в камере 1922 года. Ноябрьское утро бывает темнее декабрьского, если снег еще не покрывает землю. Это самое одинокое время года. время тоски и природы и сердца. И в такое утро особенно трудно встать. Откроешь глаза – и вот все та же пыльная лампочка, горевшая, по правилам, всю долгую ночь. В коридоре еще тихо, только где-то внизу хлопнула дверь. Но я вижу, что о. Валентин и о. Василий уже встают, и вдруг стену внутреннего холода пробивает, как луч, теплая. победоносная мысль: да ведь сегодня будут служить литургию! Сегодня там. на маленьком столике у окна, опять загорится огонь и через все стены и холод опять поднимется за всех людей, за всю страдающую землю жестяная тюремная чаша.

«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» – у нас нет ничего, кроме этого, но именно в этом больше всего нуждается мир.

Покров Божией Матери.

Примечания

¹ - Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) – украинский религиозный философ, поэт, педагог. С.И. Фудель цитирует письмо Г. Сковороды его другу и ученику М.И. Ковалинскому (сентябрь–октябрь 1763). Новый перевод латинского оригинала письма см.: Сковорода Г. Сочинения в 2-х тт. М. «Мысль». 1973, т. 2, стр. 249.

² - ...старца Иосифа – оптинский иеросхимонах Иосиф (1837 – 1911), ближайший ученик и преемник великого оптинского старца Амвросия, ныне причисленного Русской Православной Церковью к лику святых.

³ - ...манатейные монахи – монахи, носящие мантию. Монашеские одежды различаются в зависимости от трех степеней посвящения. Монахи первой (начальной) степени (так называемые рясофорные) носят рясу и камилавку; монахи второй степени, или малосхимники, надевают поверх рясы мантию и покрывают голову клобуком, иначе их называют манатейными; монахи третьей степени, или великосхимники, вместо клобука покрываются куколем (особая одежда с изображением креста, покрывающая голову, плечи, грудь и спину).

⁴ - Старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексей (в мире Соловьев Федор Алексеевич) родился 17 января 1846 года в духовной семье; долгие годы служил диаконом в Николо-Толмачевском храме Москвы; с 1895 по 1898 год – пресвитер Большого Успенского собора в Кремле; отсюда он поступил в Смоленскую Зосимову пустынь; в 1916 году ушел в затвор; от монашествующих был избран членом Поместного Собора 1917–1918 годов, где ему было поручено тянуть жребий при выборе Патриарха, павший на митрополита Московского Тихона. После закрытия монастыря (весной 1923, года) о. Алексей переехал в Сергиев Посад, где и скончался 22 сентября 1928 года. Церковное предание уже давно фактически канонизировало зосимовского старца.

⁵ - См. об этом: Монахиня Игнатия, «Церковно-песнотворческие труды инокини Кассии» («Богословские труды». Сб. 24. М. 1983, стр. 320–336).

⁶ - Савва (в миру Тихомиров Иван Михайлович, 1819–1896) – археограф и палеограф, ректор Московской духовной академии, епископ Можайский (1862–1866), Полоцкий (1866–1874), архиепископ Тверской (1879–1896); автор обширных воспоминаний «Хроника моей жизни» (тт. 1–9, Троице-Сергиева лавра, 1898–1911).

⁷ - О. Иосифу Фуделю посвящен неопубликованный очерк (восьмой) из воспоминаний Л.А. Тихомирова «Тени прошлого», включенный в рукописный сборник «Воспоминания об о. Иосифе». Очерк датирован: Сергиев Посад, 1919.

⁸ - Книга священника Павла Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» в полном виде впервые была издана московским издательством «Путь» в 1914 году. Ее более ранняя редакция появилась в 1913 году под заглавием «О духовной истине» в двух выпусках. См. подробнее: игумен Андроник (Трубачев), «Из истории книги «Столп и утверждение истины»» (в кн.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (II). М. 1990, т. 1, стр. 827–837).

⁹ - Мансуров Сергей Павлович (умер в 1929 году в Верее) – историк церкви, священник (с 1925). Автор уникальных по методу «Очерков из истории Церкви»; законченные главы этой работы посмертно опубликованы в кн. «Богословские труды» (сб. 6, М. 1971; сб. 7, М. 1972).

¹⁰ - Новоселов Михаил Александрович (1864–1938) – известный церковный писатель, до революции редактор и издатель очень популярной «Религиозно-философской библиотеки» (к 1918 году вышло более ста выпусков), основатель и руководитель периодических церковных собеседований (известных под названием новоселовского кружка), проходивших на его московской квартире в Обыденском переулке. В 1928 году он был заключен в Ярославский политический изолятор, а в 1938 году отправлен в ссылку в Сибирь.

¹¹ - Нантский эдикт был издан в 1598 году французским королем Генрихом IV и завершил религиозные войны. По смыслу явная авторская описка: речь идет, конечно, о так называемом Миланском эдикте 313 года, когда императоры Константин и Лициний признали юридическую законность христианской Церкви в Римской империи.

¹² - Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) – общественный и церковный деятель, с 1908 года – московский губернский предводитель дворянства, в 1915 году – обер-прокурор Святейшего Синода. См. о нем: К. Лазарев, «А.Д. Самарин в воспоминаниях его дочери Е.А. Самариной-Чернышевой» (в кн. «Память. Исторический сборник», вып. 3. Париж. 1980).

¹³ - Кожевников Владимир Александрович (1852–1917) – историк, философ. Автор многих статей и книг, в том числе двухтомного исследования о буддизме (Петроград, 1916). Близкий друг Н.Ф. Федорова,

подготовил к изданию его философские труды.

¹⁴ - Шмидт Анна Николаевна (1851–1905) – автор религиозно-мистических сочинений. См. о ней: «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт». М. 1916, стр. I-XV (это не подписанное предисловие принадлежит С.Н. Булгакову).

¹⁵ - О. Серафим (в миру Сергей Михайлович Батюков, 1880–1942) – священник московской церкви Кира и Иоанна на Солянке («Сербское подворье»); в 1928 году в знак несогласия с церковной политикой митрополита Сергия (Страгородского) он покинул храм и перешел в «катакомбы», до самой смерти совершая богослужения в частном доме в Загорске.

¹⁶ - См. о нем: «Крестный путь преосвященного Афанасия Сахарова» («Вестник русского студенческого христианского движения», 1973. № 107), а также официальный некролог («Журнал Московской Патриархии», 1962, № 12).

¹⁷ - Эти мысли С.И. Фудель подробно развил в своей работе «Славянофильство и Церковь» («Вестник русского христианского движения», 1978, № 125, Париж – Нью-Йорк – Москва).

¹⁸ - Подробные биографические справки об упоминаемых духовных лицах можно найти в кн.: Регельсон Лев. Трагедия русской церкви. 1917–1945. Париж. 1977.

Содержание

Фудель Сергей Иосифович Воспоминания Сергей Иосифович Фудель	1
Часть 1	2
I	6
II	13
III	25
IV	37
V	49
Часть 2	56
VI	57
VII	74
VIII	84
Примечания	107